



МАРИО

ВАРГАС ЛЬОСА

**ТЕТУШКА ХУЛИЯ
И ПИСАКА**

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Марио Льюса

Тетушка Хулия и писака

«Издательство АСТ»

1977

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Кол)-44

Льоса М. В.

Тетушка Хулия и писака / М. В. Льоса — «Издательство АСТ»,
1977 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-135995-9

Марио Варгас Льоса (р. 1936) – перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. В пронзительно-страстном, полном добродушного юмора и жизнелюбия романе «Тетушка Хулия и писака» автор подтверждает новаторскую репутацию латиноамериканских писателей, поразительным образом объединяя жанр мыльной оперы с модернистской монтажной композицией. Основной узор этого яркого пестротканого ковра составляет скандальная история любви Марио – восемнадцатилетнего юноши из хорошей буржуазной семьи, начинающего радиожурналиста, и его экстравагантной дальней родственницы – очаровательной тетушки Хулии. А оригинальным обрамлением служит калейдоскоп из отрывков радиоспектаклей, которые без перерыва строчит многоопытный Педро Камачо – приятель и творческий кумир юного Марио. Из любой, даже самой заурядной истории Педро может выстроить роскошный сюжет, в то время как Марио с трудом вымучивает десяток бездарных страниц. Но однажды на него снисходит любовь, и вместе с ней в нем просыпается вдохновение подлинного творца...

УДК 821.134.2-31(861)

ББК 84(7Кол)-44

ISBN 978-5-17-135995-9

© Льюса М. В., 1977
© Издательство АСТ, 1977

Содержание

I	7
II	16
III	28
IV	39
V	52
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Марио Варгас Льюса

Тетушка Хулия и писака

© Mario Vargas Llosa, 1977

© Перевод. Л. Новикова, наследники, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

I

В те далекие времена я был очень молод и жил с дедушкой и бабушкой в белостенном доме на улице Очаран в Мирафлоресе¹. Изучая право в университете Сан-Маркос, я вообще-то смирился с мыслью о том, что буду зарабатывать себе на жизнь как человек судейской профессии, хотя втайне мне хотелось бы стать писателем. Но пока я имел должность с громким названием, скромным жалованьем, несправедливыми доходами и гибким расписанием: я руководил Информационной службой «Радио Панамерикана». Моя работа заключалась в том, что я вырезал интересные сообщения из газет, слегка приукрашивал их и включал в радиосводки. Редакция, которую я возглавлял, состояла из одного молодого человека с сильно напояженными волосами, отличавшегося особым пристрастием к сногшибательным происшествиям. Имя его было Паскуаль. Радиосводки продолжительностью в одну минуту передавались каждый час, исключение составляли передачи в полдень и в девять вечера, когда они длились четверть часа, однако мы заготавливали сразу несколько сообщений, и потому я имел возможность подолгу бродить по улицам, сидеть за кофе на авениде Ла-Кольмена; иногда посещал лекции, иногда слонялся по студиям «Радио Сентраль», где обстановка была оживленнее, чем у меня на работе.

Обе радиостанции принадлежали одному хозяину и находились по соседству – на улице Белен, совсем близко от площади Сан-Мартина. Однако они были совершенно несхожи, напоминая пресловутых сестер из сказки: одна – избалованная барышня, другая – простенькая замарашка; так же резко отличались друг от друга и радиостанции. «Радио Панамерикана» занимала второй этаж и плоскую крышу великолепного здания, ее редакторы блистали претенциозностью, а программы – особым духом: снобистским и космополитским; все материалы подавались в модернистской манере и были обращены к аристократствующей, эстетствующей молодежи. Несмотря на то что дикторы этой радиостанции не являлись аргентинцами (как сказал бы Педро Камачо), они заслуживали того, чтобы быть ими. Станция передавала много музыки, чаще всего джаз, рок-н-ролл, редко кое-что из классики; ее волны первыми разносили по Лиме последние музыкальные новинки Нью-Йорка и Европы, но не пренебрегали и латиноамериканскими мелодиями, правда, только в том случае, если они выделялись определенной изощренностью: национальная музыка допускалась неохотно, да и то не дальше вальсов. Были программы с интеллектуальным уклоном, например «Картинки прошлого», «Международные комментарии», и даже передачи несколько фривольного характера вроде «Конкурса вопросов» либо «Трамплина к славе», в которых ощущалось стремление все-таки избежать явных глупостей или банальности. Свидетельством поисков в области культуры и являлась Информационная служба, в лоне которой мы с Паскуалем трудились, разместившись в деревянной будке на крыше, откуда можно было различить свалки мусора и невзрачные окна под убогими кровлями окраинных домов Лимы. К будке мы добирались с помощью подъемника, двери которого обладали неприятной особенностью открываться ранее положенного времени.

«Радио Сентраль», в отличие от нашей радиостанции, теснилась в старом здании со множеством переходов и закоулков; достаточно было послушать ее дикторов, чья речь отмечалась развязностью и изобиловала жаргонными словечками, чтобы понять, что ее аудитория – толпа, плебс, что ставка здесь – на национальные, креольские чувства. В передачах этой радиостанции информации было немного, зато тут господствовала перуанская музыка, царили мелодии Кордильер; нередко выступали и индейские певцы. Это случалось в дни публичных концертов, задолго до начала которых у здания радиостанции собирались толпы. Радиоволны буквально захлестывали музыкой тропиков, мексиканских и аргентинских напевов; программы

¹ Аристократический район в северной части столицы Перу – г. Лимы.

были составлены просто, без особой выдумки, но отличались целенаправленностью, например: «Заказы по телефону», «Серенады в день рождения», «Сплетни из мира кулис», «Киолента и экран». Главным блюдом этой радиостанции, весьма частым и обильным, которое, согласно всем опросам и анкетам, обеспечивало ей огромную аудиторию, были радиопостановки.

За день их передавали по крайней мере полдюжины, и мне доставляло особое удовольствие наблюдать за исполнителями, когда они разыгрывали перед микрофоном спектакли: то были стареющие актеры и актрисы, голодные и обтрепанные, чьи по-юношески чистые и ласкающие голоса ужасающе контрастировали со старыми лицами, горькими складками у рта и усталыми глазами. «В тот день, когда в Перу появится телевидение, этим людям не останется ничего, кроме самоубийства», – пророчествовал Хенаро-сын, указывая на актеров через стекла студии звукозаписи, где, как в огромном аквариуме, они толпились у микрофона с листками сценария в руках, готовые читать двадцать четвертую главу «Семьи Альвеаров». Действительно, какое разочарование постигло бы всех домохозяек, которых так трогал голос Лусиано Пандо, если бы они увидели его, скрюченного и косого; как огорчились бы пенсионеры, в которых мелодичный голос Хосефины Санчес пробуждал нежные воспоминания, если бы они разглядели ее огромный двойной подбородок, черные усики, оттопыренные уши и прыщи. Но до телевидения в Перу тогда было еще далеко, и радиотеатральная фауна в те времена, казалось, была обеспечена пропитанием, хотя и весьма скромным.

Мне всегда хотелось узнать, чье перо создавало радиосериі, развлекавшие по вечерам бабушку, истории, которые терзали мои уши в доме тетушки Лауры, тетушки Ольги и тетушки Габи, в домах моих многочисленных кузин в дни, когда я их посещал (наша семья, как и многие в районе Мирафлорес, была библейски многочисленной и дружной). Я предполагал, что радиопостановки импортировались в нашу страну, но был очень удивлен, узнав, что мои хозяева – Хенаро – покупали их не в Мексике и не в Аргентине, а на Кубе. Продукцию эту выпускала компания СМО² – разновидность радиотелевизионной империи, управляемой Гоаром Местре, седовласым джентльменом, которого я как-то видел в один из его приездов в Лиму в коридорчиках «Радио Панамерикана». Он шествовал, подобострастно сопровождаемый нашими хозяевами на виду у всего персонала, с почтением взиравшего на него. Я так много слышал об этой кубинской компании от дикторов, ведущих и операторов нашей радиостанции – для них СМО представляла нечто мифическое, как Голливуд той эпохи для кинематографистов, – что нередко мы с Хавьером за чашкой кофе в баре «Бранса» подолгу фантазировали, воображая себе пишущую братию, которая где-то там, в далекой Гаване, городе пальмовых рощ, райских пляжей, бандитов и туристов, в кабинетах с кондиционерами, оборудованных в крепости Гоара Местре, должна была работать по восемь часов в сутки за пишущими машинками, чтобы производить весь этот поток радиодрам с совращениями, самоубийствами, взрывами страстей, свиданиями, тяжбами о наследстве, с игрой случая и преступлениями, дабы проникновенные голоса лусиано пандосов и хосефин санчес скрашивали вечера бабушек, тетушек, кузин и пенсионеров каждой страны.

Хенаро-сын покупал (а точнее – СМО продавала) радиодрамы на вес и по телеграфу. Он мне рассказал об этом однажды вечером, потрясенный моим вопросом, читает ли он сам, читают ли его братья или отец сценарии, чтобы одобрить их перед выпуском в эфир. «А ты смог бы прочесть семьдесят килограммов рукописей? – возразил он со снисходительным участием, которое стал испытывать ко мне после того, как возвел меня в ранг интеллектуала: он увидел мой рассказ в воскресном приложении к газете «Комерсио». – Представь себе, сколько бы это заняло времени?! Месяц? Два? Кто же может затратить пару месяцев, чтобы прочитать самому сценарий радиопостановки?! Мы оставляем все на волю фортуны, и до сей поры, к

² Крупнейшая радиотелевизионная компания на Кубе до победы кубинской революции, когда Г. Местре эмигрировал в Аргентину.

счастью, милостивый Господь Бог нас хранил». В лучшем случае Хенаро-сын узнавал через рекламные агентства, через коллег и друзей, сколько стран уже купили радиодрамы, предложенные ему, и как они были восприняты радиослушателями; в худшем – он решал все сам, исходя из названий или по принципу «орел или решка». Радиопостановки продавались на вес, потому что это менее коварный способ, чем продажа по количеству страниц или слов; вес – единственное, что можно проверить. «Естественно, – говорил Хавьер, – если не хватает времени прочитать рукопись, то уж и вовсе некогда пересчитывать все слова». Будоражила его мысль о драме весом в шестьдесят восемь килограммов и тридцать граммов, цену которой, как цену говядины, сливочного масла или яиц, решали весы.

Но и такая система порождала для наших хозяев проблемы. Тексты были засорены словами чисто кубинского происхождения, которые за минуту до каждой передачи сам Лусиано и сама Хосефина и их коллеги переводили как могли (и всегда плохо) на разговорный язык перуанцев. С другой стороны, нередко при перевозке из Гаваны до Лимы в чреве парохода или самолета, при перегрузках на таможенных папках с машинописными текстами приходили в негодность, а иногда терялись целые главы; отсыревшие и склеившиеся страницы невозможно было читать, в довершение всего уже на складах «Радио Централь» их обгрызали крысы. Поскольку обнаруживалось это в последние минуты, когда Хенаро-отец уже раздавал исполнителям сценарий, возникали поистине трагические ситуации, разрешавшиеся простым игнорированием утерянных глав, отчего все становилось с ног на голову; в самых тяжелых случаях это приводило к однодневной болезни либо Лусиано Пандо, либо Хосефины Санчес, после чего в течение последующих двадцати четырех часов производилась реставрация – или уничтожение без особых травм исчезнувшего веса – в граммах или килограммах. Так как цены, установленные СМО, были высокими, вполне естественно, что Хенаро-сын почувствовал себя счастливым, открыв существование и магические способности Педро Камачо.

Я прекрасно помню день, когда он рассказал мне об этом радиофеномене, потому что именно в тот день я впервые увидел тетушку Хулию. Она была сестрой жены моего дяди Лучо и лишь накануне вечером прибыла из Боливии. Недавно получив развод, она приехала сюда, в Перу, чтобы отдохнуть и восстановить силы и здоровье после матримониального краха. «А на самом деле – поискать другого мужа», – заключила на одном из семейных вечеров самая злоязычная из всей моей родни тетушка Ортенсиа. По четвергам я всегда обедал в доме дяди Лучо и тетушки Ольги. В этот день я нашел членов семьи еще в пижамах: они «лечились» после тяжелой ночи холодным пивом и острыми маринованными улитками. Дело в том, что до рассвета они проболтали с вновь прибывшей гостьей, распив при этом на троих бутылку виски. У них болела голова; дядя Лучо страдал от мысли, что в конторе, наверное, все пошло вверх дном; тетушка Ольга утверждала, что стыдно не спать по ночам, кроме, конечно, суббот, а гостья – в халате, без туфель и с бигуди в волосах – распаковывала чемоданы. Она нисколько не смутилась, что я застал ее в таком виде, когда она менее всего походила на королеву красоты.

– Значит, ты и есть сын Дориты, – сказала она, запечатлев поцелуй на моей щеке. – Ты, кажется, уже закончил колледж?

Я смертельно возненавидел ее. Мои тогдашние стычки с семьей обычно вызывались тем, что все смотрели на меня как на ребенка, а не как на настоящего мужчину восемнадцати лет, каковым я являлся на самом деле. Ничто так не раздражало меня, как обращение «Марито»; мне казалось, уменьшительное имя возвращает меня к коротким штанишкам.

– Он уже на третьем курсе факультета права и к тому же работает журналистом, – пояснил ей дядя Лучо, протягивая мне бокал пива.

– Вот как! А выглядишь ты, Марито, все еще сосунком, – уколола меня тетушка Хулия.

За обедом она спросила меня – все тем же сладеньким голосом, каким взрослые говорят с идиотами и детьми, – влюблен ли я, хожу ли развлекаться, каким видом спорта увлекаюсь, и посоветовала не без коварства (я не понял: было оно неосознанным или намеренным, но

которое тем не менее задело меня за живое), чтобы при первой возможности я отрастил себе усы. Брюнетам идут усы, пояснила она, усы, мол, будут способствовать моему успеху у девиц.

– Он не думает ни о юбках, ни о танцуйках, – вновь вмешался дядя Лучо. – Он интеллектуал. И даже опубликовал рассказ в воскресном приложении к «Комерсио».

– Подумать только! А вдруг сын Дориты вырастет у нас совсем непохожим на остальных! – засмеялась тетушка Хулия, и я тотчас ощутил необыкновенную симпатию к ее бывшему супругу. Тем не менее я улыбнулся и постарался подладиться под ее тон.

В течение всей беседы за обедом она ввертывала затасканные боливийские остроты, то и дело поддразнивая меня. При расставании мне показалось, что ей все же захотелось как-то заглазить свои колкости по моему адресу, а потому, сделав любезный жест, она заявила, что с удовольствием пошла бы со мной в кино: кино – ее страсть.

Я добрался до «Радио Панамерикана» как раз вовремя, чтобы помешать Паскуалу заполнить радиосводку, подготовленную к трем часам, сообщением о разыгравшемся сражении между могильщиками и прокаженными на экзотических улицах пакистанского города Равалпинди, которое было опубликовано газетой «Ультима ора». Подготовив материал для программ на четыре часа и на пять, я вышел глотнуть кофе. В дверях «Радио Централь» я столкнулся с Хенаро-сыном, у которого был на редкость возбужденный вид. Он потащил меня за рукав к бару «Бранса»: «Я должен рассказать тебе нечто совершенно фантастическое!» Хенаро-сын провел несколько дней по делам в Ла-Пасе³ и там увидел в деле феноменальнейшую личность: Педро Камачо.

– Это не человек, это – индустрия! – восторгался он. – Камачо пишет все драматические произведения, которые ставят в театрах Боливии, и сам в них играет. Кроме того, он пишет сценарии всех радиоспектаклей, сам же их оформляет и в каждом сам играет главную мужскую роль.

Но еще более, чем плодовитость и многогранность Педро Камачо, потрясала его популярность. Для того чтобы увидеть Камачо на сцене театра «Сааведра» в Ла-Пасе, Хенаро-сын вынужден был купить билет по двойной цене у спекулянтов.

– Совсем как на бой быков, представляешь! – восхищался он. – Кто у нас в Лиме мог привлечь столько зрителей, чтобы заполнить театр?

Затем он рассказал, что два дня подряд наблюдал, как толпы девиц, дам зрелого возраста и старушек осаждали двери «Радио Иллимани» в ожидании выхода своего кумира, чтобы попросить у него автограф. Представитель компании «Макканн Эриксон» в Ла-Пасе, в свою очередь, заверил Хенаро, что из всех боливийских передач радиодрамы Педро Камачо пользовались самым шумным успехом.

Хенаро-сын был из тех, кого в те времена стали называть «импресарио-прогрессист»: его более интересовало само дело, чем почет и слава; он не был членом Национального клуба и даже не стремился стать им; он был дружен со всеми и всех изматывал своей неумолимой энергией. Человек быстрых решений, Хенаро-сын после посещения «Радио Иллимани» убедил Педро Камачо переехать в Перу и работать лишь для «Радио Централь».

– Уговорить его было нетрудно, там он голодал, – пояснил мне Хенаро-сын. – Он займется здесь радиопостановками, а я смогу послать ко всем чертям этих акул из компании СМО.

Я пытался его отрезвить. Убеждал, что по собственному опыту знаю: боливийцы – люди с норовом, и Педро Камачо непременно вступит в конфликт со всем персоналом «Радио Централь». К тому же его произношение будет раздражать наших радиослушателей, а поскольку он совсем не знает Перу, то станет постоянно попадать впросак. Однако Хенаро-сын улыбался, оставаясь глухим к моим пессимистическим пророчествам. Педро Камачо, по его словам, хоть и не бывал никогда в нашей стране, поведал ему об особенностях склада души жителя Лимы

³ Главный город Боливии.

так, будто сам полжизни прожил в местных трущобах; выговор же его был безупречным: он не шипел, произнося «с», не рычал, произнося «р», и обладал бархатным голосом.

– Только бы Лусиано Пандо и другие актеры не сожрали беднягу иностранца, – опасался Хавьер. – Или не изнасиловала бы его прекрасная Хосефина Санчес.

Мы сидели у себя на крыше и беседовали, пока я перепечатывал, меняя лишь наречия и прилагательные, сообщения из «Комерсио» и «Пrensa» для радиообзора «Панамерикана» к двенадцати часам. Хавьер был моим лучшим другом, мы встречались с ним ежедневно хоть на минуту, лишь для того, чтобы убедиться, что мы существуем. Хавьеру были свойственны изменчивые и противоречивые порывы, но при этом всегда искренние; он слыл звездой литературного факультета Католического университета, где до него не было ни столь способного студента и пламенного любителя поэзии, ни столь остроумного комментатора сложнейших текстов. Никто не сомневался в том, что он с блеском защитит диплом, станет блестящим преподавателем и не менее блестящим критиком и поэтом. Но в один прекрасный день Хавьер поразил всех: он забросил работу над дипломом, отказался от литературы и от Католического университета и записался студентом факультета экономики в университет Сан-Маркос. Если кто-либо интересовался причиной бегства, он отвечал (а может быть, просто отшучивался), что диплом, над которым он трудился, открыл ему глаза. Труд его назывался «Пословицы и поговорки в творчестве Рикардо Пальмы»⁴. В поисках этих пословиц и поговорок Хавьеру пришлось чуть не с лупой проштудировать «Перуанские традиции», а так как он был человеком обязательным и пунктуальным, то делал множество научных выписок, их накопился у него целый ящик. Однажды утром он сжег на пустыре этот ящик – мы вместе отплясывали индейский танец вокруг филологического костра – и решил, что ненавидит литературу и что даже экономика лучше того, чем он занимался прежде. Хавьер проходил практику в Центральном ипотечном банке и всегда отыскивал предлог, чтобы по утрам удирать в «Радио Панамерикана». От филологического кошмара, связанного с прежним коллекционированием, у него осталась привычка истязать меня пословицами, как говорится, без зазрения совести.

Меня очень удивило, что тетушка Хулия – боливийка и жительница Ла-Паса – ничего не слышала о Педро Камачо. Правда, она пояснила мне, что никогда не слышала ни одной радиопостановки и нога ее ни разу не ступала в театры с той поры, как она исполнила роль Сумерек в «Танце часов» в год окончания колледжа под присмотром ирландских монахинь. («И не вздумай меня спрашивать, когда это было, Марито!»)

Мы шли от дома дяди Лучо, что в конце авениды Армендарис, по направлению к кино-театру «Барранко». Она сама навязала мне это приглашение в тот же день, причем совершенно беззастенчиво. То был первый четверг после ее приезда, и, хотя перспектива вновь стать жертвой боливийских острот мне совсем не улыбалась, я не собирался пропускать традиционный «четверговый» обед у дяди. Я надеялся, что не встречу ее там, поскольку накануне – по средам вечером все навещали тетушку Габи – я слышал, как тетушка Ортенсия сообщила тоном человека, которому боги доверили свою тайну:

– За первую неделю пребывания в Лиме Хулия уже четырежды бывала в обществе, и все – с разными мужчинами! Один из них даже женат! Они так и липнут к разведенной!

Сразу же после полудня и по окончании передачи бюллетеня «Панамерикана» я пришел к дяде Лучо и застал тетушку Хулию с одним из ее поклонников. Я испытал сладкое чувство мести, войдя в зал и увидев около нее дядю Панкрасию, двоюродного брата моей бабушки, победоносно взиравшего на боливийку: он был на редкость смешон в своем старомодном костюме, с галстуком-бабочкой и гвоздикой в петлице. Дядя Панкрасию вдовствовал уже несколько веков; теперь он ходил, широко расставляя ноги, будто отмечал ими на

⁴ Рикардо Пальма (1833–1919) – выдающийся перуанский писатель, автор классического труда «Перуанские традиции» – о жизни страны от колониальных времен до начала нашего века.

циферблате десять часов и десять минут, и в семье всегда с неодобрением комментировали его визиты: он никак не мог удержаться, чтоб не щипать служанок у всех на виду. Дядя Панкрасио красил волосы, носил карманные часы с посеребренной цепочкой; его ежедневно можно было встретить в шесть вечера на углу у телеграфа, где он провожал комплиментами девиц, возвращавшихся со службы. Наклоняясь, чтобы поцеловать тетушку Хулию, я шепнул ей на ухо как мог язвительнее: «Блестящая победа!» Она подмигнула мне и утвердительно кивнула головой. Во время обеда дядя Панкрасио, поразглагольствовав о креольской музыке, большим знатоком которой он слыл – на семейных торжествах он исполнял неперменное соло, барабана по пустому ящику, – повернулся к боливийке и, облизываясь, словно кот, произнес: «Кстати, вечерами по четвергам в подвальчике “Виктория” – в самом сердце креолизма – собирается ансамбль Фелипе Пингло. Тебе не хотелось бы послушать подлинно перуанские мелодии?» Тетушка Хулия, немедленно изобразив на лице крайнее огорчение, отчего ложь ее стала еще более оскорбительной, ответила, указав на меня: «Какая жалость! Но Марито уже пригласил меня в кино». – «Дорогу молодежи!» – склонил голову дядя Панкрасио с самообладанием спортсмена. Несколько позже, когда он уже ушел, я решил было, что спасся от посещения кино, но вдруг тетушка Ольга спросила: «Насчет кино ты, наверное, придумала, чтобы отвязаться от этого старого волокиты?» На что тетушка Хулия со всей горячностью возразила: «Ничего подобного, сестрица! Мне ужасно хочется сходить в кинотеатр “Барранко”, тем более что девушкам смотреть этот фильм не рекомендуется». Затем она повернулась ко мне, внимавшему, как будет решена моя участь в этот вечер, и добавила, чтобы успокоить меня, к своему словесному букету еще один великолепный цветок: «О деньгах не беспокойся, Марито! Я тебя приглашаю».

И вот мы идем с ней вниз по тенистой авениде Армендарис, затем по широким плитам авениды Грау на просмотр кинофильма, который ко всему прочему был мексиканским и назывался «Мать и любовник».

– Самое ужасное не в том, что мужчины считают своим долгом тут же предлагать себя разведенной женщине, – поведала мне тетушка Хулия. – Главное, по их мнению, – в отношениях с разведенной никакой романтики не требуется. Мужчины в таких случаях не прилагают ни малейших усилий, чтобы вызвать ответные чувства, не рассыпаются в изысканных комплиментах, а делают тебе предложение чуть ли не с первого взгляда, и притом без всякого стыда. Но меня не проведешь! Поэтому, вместо того чтобы где-то с кем-то танцевать, я предпочитаю отправиться с тобой в кино.

Я поблагодарил ее за то, что она выбрала меня.

– Мужчины настолько глупы, что считают каждую разведенную женщину уличной шлюхой, – продолжала Хулия, не показав вида, что поняла мой намек. – У всех на уме одно и то же... А ведь самое приятное не это... Самое прекрасное – любовь. Разве не так?

Я пояснил ей, что любви вообще не существует, что любовь выдумали некий итальянец по имени Петрарка и трубадуры из Прованса. И то, что люди принимают за прозрачный источник волнений, взрыв прекрасных чувств, – не более чем инстинкт, такой же, как у котов; инстинкт, лишь прикрываемый возвышенными словами и литературщиной. Я сам не верил в то, что говорил, но мне хотелось выглядеть необыкновенно оригинальным. Моя эротико-биологическая теория вызвала у тетушки Хулии недоумение: неужели я действительно верил в подобный идиотизм?

– Я против брака, – заявил я со всей категоричностью, на которую был способен. – Я – сторонник так называемой свободной любви, и, если бы мы были честными людьми, ее следовало бы просто называть свободным соитием.

– «Соитие» означает ныне «заниматься любовью»? – засмеялась она. Но через минуту на лице ее отразилось разочарование. – В мое время юноши писали девушкам акростихи, посы-

лали цветы, недели проходили, прежде чем они решались на поцелуй. В какую мерзость превратили любовь нынешние сопляки, Марито!

Перед кассами кинотеатра между нами возник бурный спор из-за того, кто будет платить за билеты. Вытерпев полтора часа на экране Долорес дель Рио⁵ с ее стенаниями, объятиями, ласками, рыданиями, бегущую по сельве с распущенными волосами, мы вернулись в дом дяди Лучо опять пешком. Накапывал дождь, неслышно падая на волосы и на одежду. Мы снова заговорили о Педро Камачо. Неужели она действительно никогда не слышала о нем? Ведь по утверждению Хенаро-сына, тот слыл знаменитостью в Боливии. Нет, она ничего не знала о нем, даже не слыхала такого имени. Я подумал, что Хенаро здорово провели или, возможно, так называемая радиотеатральная индустрия Боливии была его собственным измышлением, чтобы эффектнее подать туземного борзописца. Три дня спустя я увидел Педро Камачо собственной персоной.

У меня только что произошло столкновение с Хенаро-отцом из-за того, что Паскуаль, одержимый страстью к стихийным бедствиям, посвятил всю радиосводку, подготовленную к передаче в одиннадцать часов, землетрясению в Исфахане⁶. Хенаро-отца возмутил не столько сам факт, что Паскуаль пренебрег всеми другими новостями, чтобы рассказать в подробностях, как уцелевшие после катастрофы персы подверглись нападению шипящих и свистящих от ярости змей, которые выползли из своих разрушенных убежищ, сколько то, что землетрясение это произошло неделю назад. Я вынужден был согласиться: да, Хенаро-отец был, в конце концов, прав, и я буквально надорвался, ругая Паскуаля. Откуда извлек он эту «свежайшую новость»? Из какого-то аргентинского журнала. А почему отколол такую глупость? Оттого что не было ни единого важного актуального события, а это сообщение было по крайней мере захватывающим. Когда я разъяснил Паскуалю, что нам платят деньги не за то, чтобы мы развлекали слушателей, а за то, чтобы давали обзор событий за день, он выдвинул свои неопровержимые доводы, снисходительно покачивая при этом головой: «Дело в том, что наши точки зрения на журналистику не совпадают, дон Марио». Я уже собирался заявить ему, что если он будет упорствовать и каждый раз за моей спиной применять свои «принципы терроризирования слушателей» в журналистике, то мы очень скоро – и вдвоем – окажемся на улице, как вдруг в дверях нашей будки неожиданно возник чей-то силуэт. Это было маленькое и тощее существо, почти карлик, с большим носом и необыкновенно живыми глазами. Оно было одето во все черное, без труда можно было заметить потрепанность его тройки, пятна на рубашке и на галстук-бабочке. Однако в его манере носить одежду было некое благородство, чувство собственного достоинства и чинность, как у кабальеро, что смотрят на нас со старинных фотографий, заточенные в свои чопорные сюртуки и безупречные цилиндры. Возраста он был неопределенного – ему вполне можно было дать от тридцати до пятидесяти лет. Отличала его к тому же маслянистая черная шевелюра, спускавшаяся до плеч. Походка, движения, выражение лица – все было неестественным и скованным и вызывало воспоминания о механической кукле или марионетке, которую дергают за веревочку. Существо отвесило вежливый поклон и с торжественностью, такой же необычной, как и его внешний вид, обратилось к нам следующим образом:

– Я собираюсь похитить у вас пишущую машинку, сеньоры. И был бы вам благодарен, если бы вы оказали мне помощь. Которая из машинок лучше?

Его указательный палец поочередно упирался то в мою машинку, то в машинку Паскуаля. Несмотря на то что я уже привык к контрастам между голосом и внешностью благодаря моим вылазкам в студию «Радио Централь», меня потрясло, каким образом из крохотного и немощного тельца мог исходить столь глубокий и мелодичный голос, да еще с поражающей

⁵ Известная мексиканская киноактриса 40—50-х годов.

⁶ Город в Иране.

великолепной дикцией. Голос, казалось, не только отчеканивал каждый звук, он выделял каждую его частицу, оттенял каждый его атом, акцентировал каждый тон. Весьма нетерпеливо, не замечая удивления, вызванного у нас его видом, решимостью и голосом, человек начал обследовать и чуть ли не обнюхивать наши пишущие машинки. В конце концов он остановился на моем древнем, огромном, похожем на катафалк «ремингтоне», на котором годы вроде не оставили никакого следа. Паскуаль отреагировал первым.

– Вы что – вор? Да кто вы, собственно, такой? – обрушился он на пришедшего, и я понял, что он отработывает себе прощение за катастрофу в Исфахане. – По-вашему, вот так, запросто, можно унести машинку Информационной службы?

– Искусство важнее твоей Информационной службы, чучело, – отпарировал неизвестный, бросив на Паскуаля взгляд, каким окидывают раздавленное насекомое, и вновь принялся за свое. На глазах растерянного Паскуаля, который, как, впрочем, и я, пытался сообразить, что же означает в данном случае слово «чучело», посетитель попытался приподнять машинку. С огромным трудом ему удалось оторвать от стола это сооружение – у него даже напряглись жилы на шее и глаза чуть не выскочили из орбит. Лицо его медленно заливалось цветом спелого граната, узенький лоб – потом, но человек не отступал. Стиснув зубы, шатаясь, он пределал несколько шагов по направлению к выходу, но был вынужден сдаться: еще мгновение – и ноша увлекла бы его за собой вниз. Тогда он поставил «ремингтон» на столик Паскуаля и остановился, еле переводя дыхание. Отдышавшись, не придавая значения улыбкам, которые это представление вызвало у меня и у Паскуаля (последний даже покрутил пальцем у виска, показывая мне, что мы, мол, имеем дело с психом), он обратился к нам с укором:

– Не будьте столь бесчувственными, сеньоры, проявите хоть каплю человеческого участия! Помогите!

Я ответил, что глубоко сожалею, но вынести отсюда «ремингтон» он может, только переступив через труп Паскуаля или в крайнем случае – через мой собственный. Человек в этот момент поправлял свой галстук, от натуги съехавший набок. К моему удивлению, с досадливой гримасой на лице он, обнаруживая полное отсутствие чувства юмора, отвечал важным тоном:

– Благородного происхождения человек никогда не уклоняется от вызова на бой. Ваши место и час, кабальеро?

Спасительное появление Хенаро-сына в нашей будке сорвало переговоры, весьма напоминавшие последние формальности перед дуэлью. Хозяин вошел в тот момент, когда упрямый человек, лиловый от натуги, вновь пытался обхватить мой «ремингтон».

– Оставьте, Педро, я помогу вам, – сказал Хенаро-сын и взял машинку, будто это был спичечный коробок. Сразу поняв по нашим физиономиям, что ему следует как-то объяснить происходящее, Хенаро-сын успокоил нас, улыбаясь: – Никто не погиб! И нечего грустить! Отец в ближайшие дни возместит вам машинку.

– Как всегда, мы – лишняя спица в колеснице, – пытался я протестовать, надеясь сохранить хорошую мину при плохой игре. – Мало того, что нас держат в этой грязной будке на крыше! Мало того, что у меня отобрали письменный стол и отдали его бухгалтеру! А теперь вот – и мой «ремингтон»! И никто даже не потрудился предупредить!

– Мы подумали, что этот сеньор – вор, – поддержал меня Паскуаль. – Ворвался сюда, оскорбляет нас, будто имеет на это право!

– Между коллегами не должно быть скандалов, – заявил Хенаро-сын, став в позу царя Соломона. С этими словами он взгромоздил мою пишущую машинку на плечо – я заметил, что человек доставал хозяину как раз до подмышек. – Разве отец не представил вас друг другу? Хорошо, я сам сделаю это, ко всеобщему удовольствию.

В ту же минуту человек, подойдя ко мне, быстро, как заводной, поднял ручонку, протянул детскую ладошку и церемонно поклонился. При этом он произнес дивным тенорком:

– Ваш друг Педро Камачо. Боливиец и артист.

Он повторил тот же жест, поклон и фразу, обратившись к Паскуалу.

Последний, пребывая в состоянии крайней растерянности, никак не мог уяснить: издевается над ним человек или и впрямь он таков от природы. Стоя посреди крыши и укрываясь в тени Хенаро-сына, который казался рядом с ним гигантом, Педро Камачо с утонченной вежливостью пожал нам поочередно руки, а затем обратился ко всей нашей Информационной службе. Приподняв верхнюю губу и сморщив лицо, отчего обнажилось несколько желтых зубов – видимо, это должно было изображать улыбку, хотя скорее явилось лишь жалкой гримасой, – после секундной паузы он поблагодарил нас следующей музыкальной фразой, сопровождаемой жестом прощающегося с публикой иллюзиониста:

– На вас я не держу зла, я привык к людскому непониманию. Прощайте, господа, и навеки!

Он исчез в дверце будки, вприпрыжку, точно домовой, догоняя нашего импресарио, поборника прогресса, который, сохраняя серьезный вид, с «ремингтоном» на плече вышагивал к подъемнику.

II

Однажды весенним солнечным утром, когда герани в Лиме кажутся ярче, розы – ароматнее, а бугенвиллеи – кудрявей, доктор Альберто де Кинтерос, светило в области медицины: широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, твердость духа, – открыл глаза в спальне своей просторной резиденции, расположенной в районе Сан-Исидро. Сквозь створки жалюзи он увидел, как солнце золотит траву ухоженного сада, защищенного живой изгородью, полюбовался чистотой неба, прелестью цветов и ощутил то прекрасное состояние, которое дают человеку восемь часов благотворного сна и чистая совесть.

Была суббота, и он мог позволить себе не ходить в клинику – если только у сеньоры, произведшей на свет тройню, не возникнет каких-либо осложнений, – мог посвятить утро гимнастике, а затем попариться в сауне, прежде чем отправиться на церемонию бракосочетания Элианиты. Его супруга и дочь находились в Европе, обогащая эрудицию и обновляя гардероб, так что раньше конца месяца их ждать не следовало. Другой бы, располагая таким состоянием и внешностью – чуть тронутые инеем виски, упругая походка, элегантность манер (чем он привлекал завистливые взгляды даже совершенно неприступных дам), – другой бы, повторяем, воспользовался своим временным положением холостяка и тряхнул стариной. Но доктор Альберто де Кинтерос был не из тех, кого карты, юбки и напитки прельщали более положенного, так что среди его знакомых – а имя им легион – даже бытовал афоризм: «Его пороки – наука, семья, гимнастика».

Доктор приказал подать себе завтрак и, пока его готовили, позвонил в клинику. Дежурный врач сообщил ему, что мама тройни провела ночь спокойно, а кровотечение у больной, оперированной по поводу фибромы, прекратилось. Отдав должные распоряжения, доктор де Кинтерос напомнил, чтобы в случае серьезной необходимости ему звонили в гимнастический зал «Ремихиус» или – в час обеда – домой к его брату Роберто, затем добавил, что вечером зайдет в больницу. Когда мажордом принес сок папайи, чашечку черного кофе и поджаренный ломтик хлеба с медом, Альберто де Кинтерос был уже побрит и одет в серые вельветовые брюки, мокасины без каблучков и зеленую куртку с высоким воротом. Он завтракал, просматривая заметки о катастрофах и интригах в утренних газетах, затем взял свой спортивный чемоданчик и вышел из дому. В саду задержался на минуту – приласкать Пука, чистейшей породы фокстерьера, встретившего его радостным лаем.

Гимнастический зал «Ремихиус» находился в нескольких кварталах от дома на улице Мигеля Дассо, и доктору Кинтеросу доставляло удовольствие пройти пешком. Он шел медленно, отвечая на приветствия жителей этих кварталов, заглядывая в сады, которые как раз в эти часы садовники поливали и подстригали. Перед книжной лавкой Кастро Сото он обычно задерживался – выбрать себе какой-нибудь бестселлер. Было еще довольно рано, но тем не менее у кафе Дэвори толпились уже в полном сборе неперменные юнцы в распахнутых рубашках и с длинными спутанными гривами. Они ели мороженое, не слезая с мотоциклов или сидя на бамперах гоночных машин, перебрасываясь шутками и договариваясь о том, где будут веселиться ночью. Юнцы с уважением поздоровались с доктором, но не успел он пройти мимо, как один из них осмелился бросить за его спиной реплику, которую он постоянно слышал в гимнастическом зале. То была вечная шутка по поводу его возраста и увлечений, и доктор переносил ее стоически, с чувством юмора: «Не надорвитесь, доктор, помните о внуках!» На этот раз шутка прошла мимо его ушей, ибо доктор старался вообразить, как прекрасно будет выглядеть Элианита в подвенечном платье, сшитом на заказ парижским домом моделей «Кристиан Диор».

В то утро народу в зале было немного: только Коко, тренер да два фанатика тяжелой атлетики – Негр Умилья и Перико Сармьенто, вместе они представляли собой три горы мышц,

которых хватило бы на десяток нормальных мужчин. Видимо, и они пришли недавно, так как еще разогревались.

– А вот к нам и аист без своих новорожденных пожаловал. – Коко потряс руку доктора.

– Еще держится, который уж век! – помахал рукой Негр Умилья.

Перико ограничился тем, что поцокал языком и поднял два пальца – средний и указательный – в приветствии, вывезенном из Техаса. Доктору Кинтеросу была приятна эта неофициальность, доверие, с которым относились к нему его соратники по гимнастике, будто лицемерие друг друга голыми и истекающими потом объединяло их в братстве, где исчезают различия в возрасте и положении. Доктор ответил, что в случае надобности он всегда к их услугам: при первом же головокружении или недомогании они могут обратиться в его кабинет, где он держит специально для них мягкую каучуковую перчатку.

– Переодевайся и давай warm up⁷, – обратился к доктору Коко, снова принимаясь прыгать.

– Если и хватит инфаркт, тебе, ветеран, ничего не угрожает, кроме смерти, – воодушевил его Перико, принаравливаясь к прыжкам Коко.

– В раздевалке уже сидит серфист, – услышал доктор голос Негра Умилья, отправляясь переодеваться.

И правда, здесь, натягивая спортивные тапочки, сидел его племянник Ричард в синей водолазке. Двигался он так вяло, будто руки его были тряпичными. Лицо мрачное, взор отсутствующий. Племянник смотрел на дядю голубыми, совершенно пустыми глазами с таким безразличием, что доктор Кинтерос даже забеспокоился – не стал ж он невидимкой?

– Только влюбленные бывают такими рассеянными. – Доктор подошел и потрепал волосы юноши. – Спустишь-ка с луны, племянник.

– Извини, дядя, – очнулся Ричард и густо покраснел, будто его застали на месте преступления. – Я просто задумался.

– Хотел бы я знать, о каких проказах, – засмеялся доктор Кинтерос, открывая свой чемоданчик, и, прежде чем раздеваться, выбрал ящик для вещей. – Наверняка у вас дома сейчас все вверх дном? Элианита очень нервничает?

Ричард посмотрел на доктора с неожиданной ненавистью – и тот даже подумал, не уязвил ли он юношу. Однако племянник, сделав над собой заметное усилие, чтобы казаться вполне естественным, изобразил подобие улыбки:

– Да, действительно все вверх дном. Поэтому я и пришел сюда согнать жирок, пока не настало время...

Доктор подумал, племянник вот-вот добавит: «... идти на эшафот». Голос юноши звучал надтреснуто, на лице – тоска, а неуклюжесть, с которой он завязывал шнурки, сменялась резкими жестами, выдавая беспокойство, внутренний разлад, даже отчаяние. Глаза его были полны тревоги; взгляд то перебегал с предмета на предмет, то неподвижно устремлялся в одну точку, то снова беспокойно метался, ища чего-то. Ричард – красивый мальчик, этакий молодой бог, бронзовый от солнца и моря. Он носился по волнам на своей доске – серфе – даже в непогожие зимние месяцы, увлекался баскетболом, теннисом, плаванием, футболом – словом, был из тех парней, у которых торс отшлифован всеми видами спорта и которых Негр Умилья называл «смерть педерастам»: ни капли жира, широкие плечи, выпуклая грудь, осиная талия, а мускулистые, длинные и ловкие ноги заставили бы побледнеть от зависти лучшего боксера. Альберто де Кинтерос часто слышал, как его дочь Чаро и ее подружки сравнивали Ричарда с Чарльтоном Хэстоном⁸ и утверждали, что кузен куда красивей последнего, и эти слова заставляли юношу краснеть как маков цвет. Ричард занимался на первом курсе архитектурного факультета и, как

⁷ Делать разминку (англ.).

⁸ Популярный американский киноактер.

утверждали его родители, Роберто и Маргарита, всегда был примернейшим мальчиком: прилежным, послушным, добрым к отцу, матери и сестре, отличался завидным здоровьем и вызывал всеобщую симпатию. Элианита и Ричард были любимыми племянниками доктора. Надевая водолазку, натягивая тапочки и застегивая пояс – в это время Ричард ждал его у душевых, постукивая по кафельным плиткам, – доктор посматривал на юношу не без тревоги.

– Какие-нибудь неприятности, племянник? – спросил он будто невзначай, с сердечной улыбкой. – А твой дядюшка не может протянуть тебе руку помощи?

– Нет, ничего. Что это тебе пришло в голову? – поторопился ответить Ричард, вновь загораясь, как спичка. – Я великолепно себя чувствую и чертовски хочу поразмяться.

– А твоей сестре уже привезли мой подарок? – вдруг вспомнил доктор. – Мне обещали в магазине Мургия сделать это еще вчера.

– Потрясающий браслет! – Ричард уже прыгал по белым плиткам гардеробной. – Крошке он очень понравился.

– Такими делами обычно занимается твоя тетушка, но раз она все еще гуляет по европам, пришлось самому выбирать подарок. – Доктор Кинтерос растроганно развел руками. – Элианита – и в подвенечном платье! Это будет необыкновенное зрелище!

Дочь его брата Роберто – Элианита – считалась идеалом среди молодых девушек, так же как Ричард – среди юношей; одна из тех красавиц, что составляют гордость рода человеческого и своим существованием доказывают ничтожность и никчемность таких метафор, как зубки – жемчуг, глаза – звезды, косы – спелая пшеница, а щеки – персик.

Тоненькая девушка с очень темными волосами и очень белой кожей, Элианита была удивительно грациозной, даже дышала изящно; классические черты ее лица, казалось, были нарисованы восточным художником-миниатюристом. Она на год моложе Ричарда, только что окончила колледж. Единственный ее недостаток – робость. Робка она была настолько, что привела в полное отчаяние организаторов конкурса на титул «Мисс Перу», поскольку никак не соглашалась принять в нем участие. Никто, в том числе и доктор Кинтерос, не мог объяснить, почему Элианита так поспешила выйти замуж, и, главное, за кого... Конечно, Рыжий Антунес обладал известными достоинствами. Он был покладистым парнем, имел диплом менеджера, полученный в Чикагском университете, унаследовал компанию по производству удобрений, да к тому же завоевал несколько призовых кубков на велогонках. Однако из бесчисленных юношей Мирафлореса и Сан-Исидро, увивавшихся вокруг Элианиты и готовых на преступление ради женитьбы на ней, Рыжий, без сомнения, был самой неудачной кандидатурой и к тому же (доктору Кинтеросу стало стыдно, что он позволяет себе так судить о том, кто через час-другой станет его родственником) самым бездарным, туповатым и глуповатым.

– Ты, дядя, переодеваешься еще медленнее мамы, – пожаловался, не переставая прыгать, Ричард.

Они вошли в гимнастический зал. Коко, в котором педагогическое призвание было сильнее профессиональных обязанностей, вдавливал Негру Умилье основы собственной философии, показывая на желудок:

– Когда ты ешь, когда работаешь, сидишь в кино, возишься со своей девчонкой, выпиваешь – в любой момент своей жизни, даже, если сможешь, в гробу, помни: втягивай живот! – И приказал: – Десять минут wait up, чтобы порастрясти твои кости, Мафусаил!

Прыгая через скакалку рядом с Ричардом и ощущая, как приятное тепло охватывает тело, доктор размышлял: несмотря ни на что, не так уж и страшно иметь за плечами пятьдесят лет, если сохранил свои силы. Кто из его ровесников мог похвалиться отсутствием живота, играющими мышцами? Да зачем ходить далеко: родной брат Роберто – на три года моложе его – казался старше лет на десять, такой он был круглый, одутловатый и сутулый. Бедняга Роберто, наверное, ему тоже грустно из-за предстоящей свадьбы Элианиты, света очей его. В конце концов, свадьба – это утрата дочери. Да и его собственная дочь Чаро может в любой момент

выскочить замуж; вот получит возлюбленный Тато Сольдевилля диплом инженера, и придется тогда испытать такую же горечь, почувствовать себя стариком. Доктор Кинтерос обращался со скакалкой с легкостью, какую дает практика, ни разу не запутавшись, не нарушив ритма, меняя ноги, скрещивая и разводя руки, как это делают тренированные спортсмены. В зеркало он наблюдал, как его племянник, сбиваясь и путаясь, скачет тем не менее с бешеной скоростью. Зубы юноши были крепко стиснуты, на лбу выступили капли пота, а глаза зажмурены, будто он стремился на чем-то сосредоточиться. Чем озабочен? Наверно, из-за какой-нибудь юбки?

– Хватит прыгать, лежебоки. – Коко, хотя и занимался поднятием тяжестей с Перико и Негром Умилей, не терял из виду доктора с племянником, давая им время войти в ритм. – Три серии упражнений сидя! И немедленно, ископаемые!

Упражнения для брюшного пресса были испытанием силы доктора Кинтероса. Он выполнял их с невероятной быстротой, закидывая руки за шею, запрокидываясь, но не касаясь спиной пола, потом почти доставая коленками до лба. После каждой серии из тридцати упражнений следовала минутная передышка, когда он лежал, растянувшись и тяжело дыша. Выполнив девяносто упражнений, доктор сел и с удовлетворением отметил, что оставил Ричарда далеко позади. Он обливался потом с головы до ног, сердце его учащенно билось.

– Никак не могу понять, почему Элианита выходит замуж за этого Рыжего Антунеса? – услышал вдруг сам себя доктор. – И что она в нем нашла?

В общем, все это было ни к чему, и доктор тотчас же раскаялся, но Ричард даже не удивился вопросу. Задышавшись – он только что закончил упражнения, – юноша ответил шуткой:

– Говорят, любовь зла, дядя...

– Он прекрасный парень и, я уверен, сделает девочку счастливой, – пытался выправить положение доктор Кинтерос, несколько смущенный. – Я хотел сказать, что среди поклонников твоей сестры были лучшие парни Лимы. И вот пожалуйста! Всем дала отставку, а приняла предложение Рыжего – он, конечно, парень хороший, но такой, такой...

– Недоросль, ты хочешь сказать? – помог ему Ричард.

– Ну я бы не говорил так резко. – Доктор Кинтерос вдыхал и выдыхал воздух, разводя и скрещивая руки. – Но, признаться, он кажется птенцом, выпавшим из гнезда. Другой девице он, может, и подошел бы, но Элианита... Такая красивая, такая умница. Бедняга, еще заплачет с ним! – Доктор почувствовал неловкость за свою откровенность. – Да ты, племянник, не принимай все это близко к сердцу.

– Будь спокоен, дядя, – улыбнулся Ричард. – Рыжий – хороший парень, и если наша крошка обратила на него внимание, значит, он того стоит.

– Трижды по тридцать side bonds⁹, инвалиды! – прорычал Коко, взметнув над головой штангу в восемьдесят килограммов и раздувшись, как лягушка. – Втянуть брюхо!

Доктор Кинтерос подумал, что за гимнастикой Ричард забудет о своих передрягах, но, наклоняясь из стороны в сторону, он опять отметил, что племянник выполнял упражнения с какой-то особой яростью: лицо юноши вновь исказилось, снова на нем проступили тоска и отчаяние. Вспомнив, что в семье Кинтерос было предостаточно неврастеников, доктор предположил: видимо, старшему сыну Роберто выпало на долю продолжить традицию в следующем поколении. Однако, отвлекшись от этих мыслей, он подсчитал, что, пожалуй, было бы разумнее зайти в клинику перед занятиями гимнастикой и взглянуть на маму тройни, а также на сеньору, оперированную по поводу фибромы. Спустя минуту он уже больше ни о чем не думал, захваченный физическими упражнениями. Он поднимал и опускал ноги («пятьдесят раз»), изгибал корпус («Трижды выкручиваться, пока не лопнут легкие!»), заставлял работать спину, грудь, шею, послушный приказам Коко («Сильнее, прадед! Веселее, труп!»). Весь он превратился в одно сплошное легкое, которое захватывало и выпускало воздух; в кожу, исхо-

⁹ Боковые наклоны (англ.).

дившую потом; в мускулы, которые перенапряглись в усилиях, изнемогая, страдая. Когда Коко прокричал: «Три раза по пятнадцать рывков с нагрузкой!» – доктор понял, что дошел до точки. Он, правда, пытался из самолюбия выполнить хоть серию рывков с гирей в двенадцать килограммов, но сил уже не хватало. Доктор был выжат как лимон. Гиря вырвалась у него из рук на третьем рывке, после чего ему пришлось выслушать немало острот от тяжеловесов («Мумиям – в могилу, аистам – в зоопарк! Вызывай похоронное бюро! Requiescat in pace, amen!»¹⁰) и с немой завистью взирать, как Ричард, все в том же быстром ритме и с той же яростью, без труда выполнял заданные упражнения. Нет, постоянства и дисциплины, разумной диеты и размеренного образа жизни еще недостаточно, мелькнула мысль у доктора Кинтероса. Все это компенсирует разницу в возрасте лишь до определенной границы, но, переступив ее, возраст сам устанавливает непреодолимые препоны, дистанции, которые невозможно одолеть. Чуть позже, в сауне, почти ослепнув от пота, заливавшего глаза, доктор меланхолично повторил фразу, вычитанную в какой-то книге: «Молодость! Воспоминание о тебе приводит в отчаяние». Выйдя из сауны, он увидел, что Ричард присоединился к тяжеловесам и даже соревнуется с ними. Коко бросил насмешливую реплику:

– Красавчик решил покончить жизнь самоубийством, доктор!

Ричард даже не улыбнулся. Он держал гири на весу, и его потное, красное, с надувшимися венами лицо отражало отчаяние и безысходность, казалось, вот-вот он бросится на окружающих. Доктору вдруг представилось, как племянник гирями размозжит голову им всем четверым. Он помахал присутствующим рукой и, обратившись к Ричарду, пробурчал: «Увидимся в церкви».

Вернувшись домой, он успокоился, узнав, что мать тройни здесь же, в палате, пожелала играть в бридж с приятельницами, посетившими ее, а сеньора, оперированная по поводу фибромы, спрашивала, можно ли ей съесть оладьи под тамагиндовым соусом. Доктор разрешил и бридж, и оладьи и, довольный собой, стал переодеваться: темно-синяя тройка, белая шелковая рубашка, серебристый галстук, который он заколол булавкой с жемчужиной. Он опрыскивал духами носовой платок, когда принесли письмо от жены; к письму Чарито приписала несколько строк. Оно было отправлено из Венеции – четырнадцатого города в их турне: «Пока ты получишь наше послание, мы побываем еще в семи городах – они так прекрасны». Обе были счастливы, а Чарито совершенно очарована итальянцами: «Все они – киноартисты, папочка, и ты даже вообразить не можешь, какие они мастера на комплименты, только не говори об этом Тато, тысячи поцелуев, чао!»

Доктор отправился пешком к церкви Святой Марии, что на площади Овало-Гутьеррес. Было еще рано, приглашенные только начинали прибывать. Он встал в передних рядах и принялся разглядывать алтарь, украшенный лилиями и белыми розами, а также витражи, напоминавшие митры прелатов. Доктор еще раз убедился в том, что эта церковь ему совершенно не нравится из-за раздражающего сочетания гипса, кирпича и претенциозных полуарок. Время от времени он приветствовал легкой улыбкой знакомых. Естественно, иначе и быть не могло: в церкви собрался весь свет. Дальние родственники, друзья, объявившиеся после векового отсутствия, и, конечно, цвет города: банкиры, послы, промышленники, политики. «Эх, Роберто, ах, Маргарита, какие они легкомысленные!» – думал доктор Кинтерос, но без осуждения, скорее снисходя к слабостям брата и его жены. Несколько взволнованный, он увидел, как в церковь под звуки свадебного марша входит невеста. Она была действительно прекрасна в своем воздушном белом платье; ее лицо, едва различимое под фатой, сияло дивной красотой, одухотворенностью; опустив глаза, об руку с Роберто, подходила она к алтарю, а отец, солидный и величественный, пытался скрыть свои переживания под маской властителя миров. Рыжий Антунес выглядел не таким уж некрасивым: он был втиснут в новенькой фрак,

¹⁰ Да почиет с миром, аминь! (лат.)

физиономия его сияла от счастья; даже его мать – бесцветная англичанка, которая, прожив четверть века в Перу, все еще путала испанские предлоги, – в длинном темном платье, с двухэтажной прической, казалась привлекательной. Вот уж верно, подумал доктор Кинтерос, кто не отступает, тот своего добьется. Потому как бедняга Рыжий Антунес преследовал Элианиту с тех пор, когда они были детьми, оказывая ей всяческие знаки внимания, которые она всегда принимала с олимпийским спокойствием. Но парень переносил все выходки и колкости Элианиты, все жестокие шутки соседских ребят, отпускавшие в его адрес за смирение и терпеливость. «Упорный парень», – размышлял доктор Кинтерос. И вот Антунес, бледный от смущения, надевает обручальное кольцо на безымянный пальчик самой красивой девушки Лимы. Церемония закончилась. Раскланиваясь направо и налево в шумной толпе, доктор Кинтерос направлялся к боковому нефу церкви, как вдруг у одной из колонн заметил Ричарда. Тот стоял отвернувшись, будто одержимый неприязнью ко всем.

Пока доктор среди других желающих дожидался своей очереди поздравить новобрачных, ему пришлось выслушать добрую дюжину антиправительственных анекдотов, которыми с ним поделились братья Фебре – близнецы, столь похожие друг на друга, что, как утверждала молва, их путали даже собственные жены. Публики собралось столько, что стены зала приходского дома, похоже, вот-вот рухнут; многие еще ждали в саду. В толпе мелькали официанты, разносившие шампанское. Слышались шутки, смех, тосты; все, буквально все говорили о том, как прекрасна невеста. Когда доктор Кинтерос наконец смог добраться до новобрачных, он обнаружил, что Элианита, несмотря на жару и тесноту, оставалась по-прежнему свежа, великолепна. «Тысячу лет счастья тебе, крошка», – сказал доктор, обнимая ее, а она прошептала ему на ухо: «Сегодня утром Чарито звонила мне из Рима, поздравляла, и я поговорила с тетей Мерседес! Как они любезны – позвонили мне!» Потный и красный, будто вареная креветка, Рыжий Антунес искрился от счастья: «Теперь и мне тоже будет позволено называть вас дядей, дон Альберто?» – «Конечно, племянничек, – похлопал Антунеса по плечу доктор Кинтерос. – Можешь даже называть меня на “ты”».

Спасаясь от духоты, доктор спустился с подиума, где стояли новобрачные, и под вспышками фотокамер, сквозь лавину приветствий и толчею в конце концов выбрался в сад. Здесь оказалось меньше людей и можно было перевести дух. Доктор не успел осушить бокал вина, как его окружили друзья-врачи, посыпались нескончаемые остроты по поводу путешествия его супруги Мерседес: она не вернется, ее увлечет какой-нибудь французик, вот уже на лбу доктора начинают вылезать рожки. Доктор Кинтерос не обижался на шутки, понимая – тут он вспомнил гимнастический зал, – что и сегодня ему придется быть мишенью чужого остроумия. Временами в море голов в противоположном углу он различал Ричарда, окруженного смеющейся молодежью. Но племянник, хмурый, с насупленными бровями, пил бокал за бокалом, будто в них было не шампанское, а вода.

«Наверное, ему неприятно, что Элианита выходит за Антунеса, – подумал доктор, – он тоже хотел бы более блестящей партии для сестры. А может, юноша – и скорее всего это именно так – переживает один из кризисов, столь свойственных переходному возрасту». Доктор Кинтерос не забыл, что в такие же годы и у него были трудные дни, когда он стоял перед выбором – медицина или авионавтика. Отец сразил его неопровержимым аргументом: у авиаинженера в Перу не останется иного выхода, как заниматься авиамоделлизмом или мастерить воздушных змеев. Видимо, Роберто, погруженный в свои дела, не был способен дать юноше нужный совет. И доктор Кинтерос, повинувшись внутреннему порыву, решил в один из ближайших дней пригласить к себе племянника и попытаться как-то поделикатнее выведать, чем ему можно помочь.

Дом Роберто и Маргариты находился на авениде Санта-Крус в нескольких кварталах от церкви Святой Марии, так что по окончании церемонии в приходском доме приглашенные к обеду прошествовали по тенистым и залитым солнцем улицам района Сан-Исидро к старинному зданию из красного кирпича под деревянной кровлей, окруженному цветами, газонами,

живыми изгородями и богато разукрашенному по случаю торжества. Доктор Кинтерос, едва подойдя к дверям особняка брата, определил, что размах празднества превосходит все его расчеты, ему придется присутствовать при событии, которое репортеры светской хроники нарекут «потрясающим».

По всему саду были укреплены зонты, под которыми разместились столики. В глубине, рядом с псарней, огромный тент защищал от солнца стол, покрытый белоснежной скатертью. Стол тянулся вдоль стены всего дома и пестрел яркими цветами разнообразнейших закусок. Бар находился около бассейна, где плавали японские золотые вуалехвостки; рюмок, бокалов, фужеров и стаканов с коктейлями, графинов с прохладительными напитками было такое множество, словно речь шла об утолении жажды целой армии. Официанты в белых курточках, горничные в крахмальных передниках и кружевных наколках, встречая гостей, уже в дверях осаждали их предложением выпить стопочку писко, чичи¹¹ из альгарробы, водки с соком маракуйи, стакан виски, джина, бокал шампанского и закусить сырными палочками, жареной с чесноком картошкой, фаршированной сливами ветчиной, запеченными в тесте креветками, волованами и прочими всевозможными закусками, порожденными фантазией обитателей Лимы для разжигания аппетита. В глубине дома красовались огромные корзины и букеты роз, тубероз, гладиолусов, лилий, гвоздик; прислоненные к стенам, расставленные по лестницам, у притолок, на столах и прочей мебели, они наполняли воздух благоуханием и свежестью. Паркет был натерт, портьеры свежевystираны, фарфор и серебро сияли – и доктор Кинтерос не мог сдержать улыбки, заметив, что даже глиняные индейские божки, стоящие за стеклом, тоже оттерты до блеска. В холле стоял второй стол с закусками, в столовой – стол со сладкими блюдами: всевозможные булочки, сырное мороженое, печенье «безе», яйца с миндалем в сиропе, взбитые желтки, пальмовые орехи, орешки с медом, окружавшие грандиозный свадебный торт – сложное сооружение из колонн и завитков крема, вызывавшее у всех дам возгласы восторга. Но особое любопытство женщин возбуждали подарки, разложенные для всеобщего обозрения на втором этаже. Здесь выстроилась такая длинная очередь желающих осмотреть дары, что доктор Кинтерос отступил, хоть его и подмывало взглянуть, как выглядит поднесенный им браслет в груди подарков.

Побродив и полюбопытствовав то тут, то там, пожимая руки, принимая поздравления и отвечая на них, доктор вновь вернулся в сад и уселся под зонтом, чтобы спокойно насладиться вторым за этот день бокалом. Все шло прекрасно: Маргарита и Роберто умели принять гостей на высоком уровне! И хотя доктору показалось, что идея пригласить оркестр не очень соответствует данному случаю – пришлось убрать ковры, столик и угловой шкафчик с безделушками из слоновой кости, освобождая место для танцев, – он извинил это нарушение норм элегантности как уступку новому поколению, ведь известно: для молодежи праздник без танцев – не праздник.Guestы уже обносили индюшатиной и вином, а в это время Элианита, встав на вторую ступеньку парадной лестницы, собиралась бросить свой букет невесты, который уже ждали с поднятыми руками ее подружки по колледжу и соседки. В одном из уголков дома доктор Кинтерос разглядел старую Венансию, нянчившую Элианиту с колыбели; растроганная старуха вытирала слезы уголком передника.

Доктор не смог определить марку вина, хотя сразу понял, что оно импортное, возможно, испанское или чилийское; учитывая исключительность торжества, он допускал, что вино может быть и французским. Индюшатиная была нежнейшей, пюре к ней походило на сливочное масло, а салат из капусты с изюмом был настолько вкусен, что, несмотря на все свои принципы в области диеты, доктор не удержался от второй порции. Он потягивал второй бокал и уже ощущал приятную сонливость, когда увидел направляющегося к нему Ричарда. В руках его дрожал стакан с виски. Глаза юноши остекленели, голос прерывался.

¹¹ Писко – алкогольный напиток из винограда. Чича – популярный напиток из маиса или сока разных плодов.

– Может ли быть на свете что-либо глупее свадьбы, дядя? – пробормотал Ричард и, сделав презрительный жест в адрес всех и всего, что его окружало, тут же рухнул в кресло. Галстук его съехал набок, свежее пятно безобразно расплзлось по лацкану серого пиджака, а в глазах, налившихся кровью от возлияний, сверкала безудержная злоба.

– Скажу тебе по секрету, я тоже не великий любитель праздников, – отозвался благодушно доктор Кинтерос. – Но тебе ли, да еще в твоём возрасте, говорить об этом, племянник.

– Как я ненавижу эти празднества! – прошептал Ричард, оглядываясь так, будто желая уничтожить все кругом. – Какого черта я здесь?

– Представь себе, что подумала бы твоя сестра, не явись ты на её свадьбу? – Размышляя о том, какие нелепости говорят под воздействием алкоголя, доктор Кинтерос вспомнил, как развлекался обычно Ричард на подобных праздниках. Да, он веселился больше всех! Разве не был он признанным танцором? Сколько раз доктор видел своего племянника во главе компании девиц и юношей, затевавших танцы в комнате Чарито. Но он не стал говорить об этом племяннику. Ричард поспешно выпил стакан виски и попросил у официанта другой. – Во всяком случае, готовься, – сказал ему доктор. – Когда ты женишься, родители закатят тебе праздник почище этого.

Ричард поднес к губам стакан виски и, прикрыв глаза, медленно отпил глоток. Затем, не поднимая головы, глухим, почти неслышным голосом пробурчал:

– Я никогда не женюсь, дядя, клянусь тебе Богом.

Доктор не успел ничего ответить, как перед ними возникла юная блондинка, одетая по моде в нечто голубое, и, решительно взяв Ричарда за руку, даже не дав ему опомниться, заставила его встать:

– Не стыдно тебе сидеть со стариками? Пойдем танцевать, глупыш!

Доктор Кинтерос поглядел им вслед, пока они не исчезли в холле, и вдруг почувствовал себя никому не нужным. Где-то в ушной раковине ехидным эхом все еще отдавалось словечко «старик», так непринужденно и легко произнесенное милым голоском младшей дочери архитектора Арамбуру. Он выпил кофе и пошел посмотреть, что творится в зале.

Праздник был в разгаре, танцы уже захватили все пространство от исходной точки – камина, у которого разместился оркестр, до соседних комнат; припевая во весь голос, пары отплясывали ча-ча-ча, меренге, кумбии, вальсы. Волна веселья, рожденная музыкой, солнцем и вином, от молодежи поднялась до людей зрелого возраста, а там увлекла и стариков, и доктор Кинтерос с удивлением наблюдал, как восьмидесятилетний родственник – дон Марселино Уапайя – что было мочи старался, насилуя свои похрустывающие суставы, настигнуть быстрый ритм «Серого облака», придерживаясь за свояченицу Маргариту. Дым, шум, толчея, мелькание огней вызвали у доктора легкое головокружение, он облокотился о перила лестницы и на мгновение закрыл глаза. Потом, счастливый и веселый, стал следить за Элианитой, все еще в подвенечном наряде, но без фаты. Задававшая тон празднеству девушка не отдыхала ни минуты: едва кончался танец, ее тотчас окружали человек двадцать молодых людей с просьбой о следующем, и она – с сияющим взглядом и пылающими щеками – выбирала всякий раз нового партнера, возвращаясь в круговорот танцующих.

Рядом с доктором возник его брат Роберто. Вместо фрака сейчас он был одет в легкую тройку коричневого цвета и, только что кончив танцевать, весь исходил потом.

– Мне как-то не верится, Альберто, что она вышла замуж, – сказал он, указывая на Элианиту.

– Она очаровательна, – улыбнулся доктор Кинтерос. – Ты, наверное, все выложил ради праздника, Роберто?

– Мне для дочери ничего не жаль! – воскликнул его брат, но в голосе слышался оттенок грусти.

– А где же они проведут медовый месяц? – спросил доктор.

– В Бразилии, а потом в Европе. Это – подарок родителей Рыжего. – Потом добавил, посмеиваясь и кивнув в сторону бара: – Молодые должны уехать завтра рано утром, но думаю, что при такой перегрузке мой зять завтра вряд ли сдвинется с места.

Вокруг Рыжего Антунеса собралась группа молодежи, каждый хотел чокнуться с ним. Жених, еще более порыжевший и побагровевший, несколько истерично хохоча, пытался обмануть приятелей, лишь пригубив очередной бокал, однако друзья бурно протестовали и требовали пить до дна. Доктор Кинтерос искал глазами Ричарда, но не обнаружил его ни в баре, ни среди танцующих, ни в том уголке сада, который был виден из окна.

Все произошло именно в этот момент. Едва закончился вальс «Идол», едва танцующие остановились, чтобы похлопать музыкантам, едва те сняли руки с гитарных струн, едва Рыжий отказался от двадцатого тоста, как вдруг невеста поднесла правую руку к глазам, будто пытаясь отогнать невидимую муху, покачнулась и, прежде чем партнер успел поддержать ее, упала, потеряв сознание. Отец и доктор Кинтерос сперва не стали спешить, полагая, что она, вероятно, оступилась и сейчас поднимется, посмеиваясь над собой, но шумиха, возникшая в зале, восклицания, крики матери: «Доченька, Элиана, Элианита!» – заставили обоих мужчин броситься на помощь к невесте.

Первым кинулся к ней Рыжий Антунес. Он поднял ее на руки и в сопровождении друзей и подружек понес невесту по лестнице, следуя за сеньорой Маргаритой, беспрестанно твердившей: «Сюда, сюда, в ее комнату, осторожней, пожалуйста! Врача, зовите скорее врача!» Некоторые родственники – дядюшка Фернандо, кузина Чабука, дон Марселино – пытались успокоить гостей и даже приказали оркестрантам снова играть. Доктор Кинтерос увидел, что его брат Роберто, стоя на верху лестницы, делал ему какие-то знаки. Бог мой, какая глупость: разве он не врач? Чего же он ждет? Доктор, перепрыгивая через ступеньки, бежал сквозь расступавшуюся перед ним толпу.

Элианиту принесли в ее спальню. Комната, выдержанная в розовых тонах, выходила в сад. Девушка, все еще бледная, начала приходить в себя – ресницы ее дрогнули. Вокруг кровати стояли Роберто, Рыжий, нянька Венансия, а рядом сидела мать, растирая ей лоб платком, смоченным в спирте. Рыжий держал невесту за руку и в тревоге не отрываясь смотрел на нее.

– А сейчас все немедленно должны удалиться из комнаты и оставить меня наедине с невестой, – приказал доктор Кинтерос, входя в привычную роль. Оттесняя всех за дверь, он заверял: – Не волнуйтесь. Ничего страшного не может быть. Дайте мне осмотреть ее.

Лишь старая Венансия не хотела уходить, и Маргарите пришлось вытолкнуть ее чуть ли не силой. Доктор Кинтерос подошел к кровати, сел рядом с Элианитой, в страхе и смущении смотревшей на него сквозь длинные ресницы. Он поцеловал ее в лоб, потом, измеряя температуру, не спускал с нее глаз и улыбался: ничего не произошло, не из-за чего пугаться. Пульс был неровный, девушка дышала с трудом, задыхаясь. Доктор решил, что уж слишком затянуто на ней платье, и помог ей расстегнуться.

– Тебе все равно придется менять туалет, сэкономишь время, племянница.

В этот момент он заметил на ней туго затянутый корсет и моментально понял, в чем дело. Тем не менее доктор не выдал себя, не задал племяннице вопрос, из которого можно было заключить, что ему все ясно. Раздеваясь, Элианита то краснела, то бледнела и теперь стояла перед дядюшкой совершенно растерянная, не поднимая глаз, не размыкая губ. Доктор Кинтерос сказал ей, что можно не снимать нижнее белье, но следует избавиться от корсета, мешающего ей дышать. Улыбаясь и пытаясь принять беспечный вид, доктор говорил девушке: все это вполне естественно – в день свадьбы от суеты, усталости, волнений и особенно от танцев – а она ведь несколько часов плясала без отдыха! – невеста может запросто потерять сознание. Тем временем он потрогал груди, слегка помял живот Элианиты (вырвавшись на свободу из крепких объятий корсета, живот округлился, как барабан). После осмотра – с уверенностью специалиста, через руки которого прошли тысячи беременных, – доктор заключил, что девушка

была на четвертом месяце. Он взглянул в ее зрачки, задал несколько никчемных вопросов, чтобы сбить девушку с толку, и посоветовал полежать немного, прежде чем возвращаться в зал. Но – на этом он настаивал категорически – больше не танцевать!

– Вот видишь, ты немного устала, милая. На всякий случай я дам тебе успокоительное. Чересчур много впечатлений сегодня...

Он погладил девушку по голове и, чтобы дать ей время успокоиться, прежде чем войдут родители, стал расспрашивать о свадебном путешествии. Она отвечала слабым голосом. Совершить такое путешествие – это самое прекрасное, что только можно придумать. А вот ему, при его занятости, никак не вырваться в длительную поездку. Вот уже три года, как не был в Лондоне, своем любимом городе. Пока он говорил, Элианита тщательно спрятала корсет, набросила на себя халат, сложила на стул подвенечное платье, а вместо него достала блузку с высоким воротом и вышитыми манжетами, вытащила другие туфли, потом нырнула в кровать и накрылась одеялом. Доктор размышлял, не лучше ли ему откровенно поговорить с племянницей и дать ей несколько советов. Но нет, бедняжке было бы так тяжело, так неприятно. Кроме того, она наверняка все это время тайно посещала врача и прекрасно знала, как ей следует вести себя. Тем не менее носить такой узкий корсет было опасно, это могло привести к любому несчастью или, во всяком случае, повредило бы будущему ребенку. Доктора потряс тот факт, что Элианита, его племянница, девушка, о которой он мог думать лишь как о целомудренном существе, и... зачала! Дон Альберто подошел к двери, открыл ее и громко – так, чтобы его слышали и невеста, и все семейство, – сказал:

– Она здоровее нас с вами, но крайне утомлена. Отправьте кого-нибудь за успокоительным и дайте ей отдохнуть.

Венансия бросилась в спальню – через плечо доктор видел, как старая служанка ласкает Элианиту. В комнату вошли родители, Рыжий Антунес тоже намеревался сделать это, но доктор незаметно взял его под руку и увел за собой в туалет. Здесь он запер дверь.

– Это большая неосторожность, что в ее положении она танцевала весь вечер, да еще с таким пылом, Рыжий, – сказал доктор будничным голосом, намыливая руки под краном. – У нее мог случиться выкидыш. Посоветуй ей не носить корсет, да еще такой узкий. Сколько уже месяцев у нее? Три, четыре?

И в этот момент, словно молниеносный укус кобры, страшная догадка поразила доктора. В ужасе, чувствуя, что молчание в туалете наполняется чем-то страшным, он посмотрел в зеркало. Глаза Рыжего вылезли из орбит, рот свело в жуткой гримасе, придавшей ему совершенно идиотский вид: он был бледен как мертвец.

– Три-четыре месяца? – услышал доктор булькающие звуки. – Выкидыш?

Доктор почувствовал, что земля под ним разверзается. Боже, какой пень, какой дурак! – корил он себя. С необыкновенной ясностью он вдруг вспомнил, что помолвка и свадьба Элианиты заняли буквально несколько недель. Он отвел глаза от Антунеса, и, пока долго – слишком долго – вытирал руки, мозг его лихорадочно искал какую-либо ложь, спасательный круг, который помог бы парню выбраться из преисподней, куда он, доктор, только что его вверг. Единственные слова, что пришли ему в голову – и самому показались глупостью, – были:

– Элианита не должна знать, что я все понял. Я заставил ее поверить, будто ни о чем не догадываюсь. И главное, не беспокойся... Она чувствует себя хорошо.

Доктор быстро вышел, бросив искоса взгляд на Рыжего. Тот стоял на прежнем месте, глаза его уставились в пространство, лицо покрывали капли пота, теперь еще и рот был разинут. Затем он услышал, как парень заперся изнутри. Ну вот, подумал доктор, сейчас начнет рыдать, биться головой о стену, рвать на себе волосы, будет проклинать и ненавидеть меня даже больше, чем Элианиту и чем... но кого же? Он медленно спускался по лестнице, испытывая опустошающее чувство вины, терзаясь сомнениями и одновременно автоматически заверяя всех встречающих, что с Элианитой все в порядке, она скоро поправится. Он вышел в сад, свежий

воздух живительно подействовал на него. Затем он подошел к бару, залпом выпил стакан виски без льда и без воды и решил отправляться домой, не дожидаясь развязки драмы, вызванной им по наивности из самых лучших побуждений. Ему хотелось скорее закрыться в своем кабинете, утонуть в кресле, обитом черной кожей, погрузиться в музыку Моцарта.

Выйдя на улицу, он встретил Ричарда: тот сидел на траве, и состояние его было прямо-таки плачевным. Скрестив ноги, подобно Будде, юноша привалился к решетке сада, костюм его был измят, весь в пыли, пятнах, в траве. Но остановиться и забыть Рыжего с Элианитой заставило доктора не это, а лицо Ричарда: казалось, его расширенные глаза по мере опьянения смотрели все яростнее. В уголках рта повисли нити слюны; весь вид его был жалок и смешон.

– Это невозможно, Ричард, – проговорил доктор, наклоняясь и пытаясь поднять племянника. – Нельзя допустить, чтобы твои родители видели тебя таким. Поедем ко мне домой, побудешь там, пока не придешь в себя. Вот уж не думал увидеть тебя в таком состоянии, друг мой.

Ричард смотрел на доктора и не видел его, голова юноши повисла, и, хотя он пытался подчиниться дяде и встать, ноги у него подкашивались. Доктору пришлось взять его за обе руки и почти рывком поднять. Поддерживая племянника за плечи, он заставил его идти. Ричард шатался из стороны в сторону, как тряпичная кукла, и казалось, вот-вот упадет. «Поищем-ка такси, – пробормотал доктор, останавливаясь у тротуара авениды Санта-Крус, по-прежнему придерживая племянника. – Пешком ты даже до угла не дойдешь, братец». Такси проносились мимо – все они были заняты. Доктор стоял с поднятой рукой. Ожидание, воспоминания об Элианите и Антунесе, беспокойство за состояние племянника – все это начинало нервировать доктора, его, который никогда не терял присутствия духа. И тут в чуть слышном бормотании, слетавшем с губ Ричарда, он разобрал слово «револьвер». Ему оставалось лишь улыбнуться и, делая хорошую мину при плохой игре, заметить будто про себя и не ожидая, что Ричард услышит или возразит ему:

– А зачем тебе револьвер, племянник?

Ответ Ричарда, который все еще смотрел в пространство блуждающим взором убийцы, был медленным, хриплым, но четким:

– Чтобы убить Рыжего. – Он произнес каждый слог с ледяной ненавистью. Затем сделал паузу и добавил совсем осевшим голосом: – Или покончить с собой.

Язык опять перестал повиноваться ему, и Альберто де Кинтерос уже не разбирал, что говорил племянник. В этот момент остановилось такси. Доктор втолкнул Ричарда в машину, дал водителю адрес, сел сам. Лишь только машина тронулась, Ричард разрыдался. Доктор обернулся, и юноша упал к нему на грудь, продолжая рыдать так, что все его тело сотрясало от нервных судорог. Доктор обнял племянника за плечи, потрепал волосы, точь-в-точь как сделал это недавно в комнате его сестры, и жестом успокоил водителя, следившего за ними в зеркальце: «Парень перебрал спиртного». Так они и ехали: Ричард сидел, прижавшись к дяде, поливая слезами, соплями и слюной синюю тройку и серебристый галстук доктора, а тот сохранял спокойствие. Более того, у него не дрогнуло сердце, когда в невнятном бормотании и всхлипывании племянника он наконец расслышал дважды и трижды повторенную фразу, которая при всем ужасающем ее смысле звучала прекрасно и даже чисто: «Потому что я люблю ее как мужчина, дядя, и на все мне наплевать, на все!» В саду, когда они вышли из такси у дома доктора, Ричарда стошнило – да так, что он напугал фокстерьера и вызвал укоризненные взгляды прислуги. Доктор Кинтерос под руку довел Ричарда до комнаты для гостей, заставил прополоскать рот, раздел его и, уложив в постель, дал сильнейшего снотворного, потом посидел около него, ласково успокаивая – хотя понимал: парень не видит и не слышит ничего, – пока не убедился, что тот погрузился в глубокий сон.

Лишь после этого доктор позвонил в клинику и сказал дежурному врачу, что не придет в больницу до завтра, если только не произойдет что-либо сверхъестественное, приказал мажордому отвечать, что его ни для кого нет дома – кто бы ни пришел и кто бы ни звонил

по телефону, затем налил себе двойную дозу виски и заперся в кабинете послушать музыку. Он выбрал пластинки с произведениями Альбини, Вивальди и Скарлатти, так как решил, что несколько часов утонченной музыки венецианского барокко – лучшее лекарство для смятенного духа. Утонув в тепле мягкого кресла, с шотландской трубкой в зубах, доктор закрыл глаза и стал ждать, когда музыка окажет на него свое непереносимое чудесное воздействие. Он думал о том, что вот и представился великолепный случай подвергнуть испытанию нравственные устои, которым он следовал со времен юности и согласно которым было предпочтительнее понять, чем осуждать людей. Он не ощущал ни страха, ни возмущения, ни даже удивления, скорее легкое волнение, симпатию, а вместе с тем нежность и жалость. Теперь ему стало совершенно ясно, почему такая красивая девушка вдруг решила выйти замуж за дурака и почему у «укротителя волн», короля гавайского серфа никогда не было возлюбленной, почему он всегда и без возражений, с завидным усердием выполнял обязанности гувернантки своей младшей сестры. Наслаждаясь ароматом табака и живительным огнем напитка, доктор размышлял, что о Ричарде не следует очень уж беспокоиться. Он найдет возможность убедить Роберто отправить мальчика учиться за границу, в Лондон например, где тот встретит достаточно много нового и интересного, чтобы забыть прошлое. Неизмеримо больше доктора интересовала, тревожила судьба двух других участников этой истории. Но музыка убаюкивала его, и в мозгу все слабее и медленнее ворочался клубок вопросов без ответа: покинет ли Рыжий сегодня же вечером свою безрассудную жену? Может быть, уже сделал это? Или будет молчать, проявив необъяснимое благородство, а может, и глупость, и жить с обманувшей его, которой так долго помогался? Разразится ли скандал или стыдливый флер светского приличия и оскорбленной гордости навсегда скроет трагедию, разыгравшуюся в районе Сан-Исидро?

III

Я вновь встретился с Педро Камачо через несколько дней после инцидента с машинкой. Было семь с половиной утра, я уже подготовил первую утреннюю радиосводку и намеревался отправиться в «Бранса» выпить чашку кофе с молоком, когда, проходя мимо швейцарской «Радио Централь», разглядел в окошечко свой «ремингтон». Машинка работала, я слышал стук ее тяжелых клавиш по ролику с бумагой, но никого за ней не увидел. Просунув голову в окошко, я обнаружил, что за машинкой сидел Педро Камачо. Здесь, в крохотной каморке швейцара, ему оборудовали рабочий кабинет. В низкой комнатухе, где стены были обезображены сыростью, трещинами и всевозможными рисунками и надписями, теперь возвышался письменный стол, тоже разваливающийся от старости, но столь же величественный, как и машинка, грохотавшая на его досках. Громадный стол и «ремингтон» буквально подавляли Педро Камачо. Он, правда, взгромоздил на стул пару подушек, но и после этого, доставая головой лишь до клавиш, печатал, вздымая руки на уровень глаз, и со стороны казалось, будто он боксирует. Целиком поглощенный своим делом, он не замечал меня, хоть я стоял рядом. Вытаращенные глаза его были прикованы к бумаге, печатал он двумя пальцами, от усердия высунув кончик языка. На Камачо, как и в первый день, была черная тройка; он не снял ни пиджака, ни галстука-бабочки. Увидев его, столь сосредоточенного и занятого, окинув взглядом его пышную шевелюру и костюм поэта девятнадцатого века, строгого и серьезного за письменным столом с машинкой, чересчур громоздкими для него, и в этой конуре, слишком тесной для них троих, я испытал сложное чувство: нечто среднее между жалостью и презрением.

– Вы ранняя птичка, сеньор Камачо! – приветствовал я его, еле протиснувшись в комнатуху.

Не отрывая глаз от бумаги, он ограничился властным кивком в мою сторону, что должно было означать: замолчи, либо подожди, либо то и другое вместе. Я выбрал последнее и, пока он заканчивал фразу, успел обнаружить, что весь его стол завален отпечатанными на машинке листками и на полу валяются еще несколько листов, смятых и брошенных туда за отсутствием корзины для бумаг. Через минуту он снял пальцы с клавиш, посмотрел на меня, встал, церемонно подал правую руку и ответил на мое приветствие сентенцией:

– Искусство вне расписания. Добрый день, мой друг.

Я не стал выяснять, не тесно ли ему в этой конуре, так как был уверен – он ответит, что искусству претят удобства. Поэтому я просто пригласил его выпить со мной кофе. Он определил время с помощью доисторического механизма, болтавшегося на его худенькой ручонке, и пробормотал: «После полуторачасовой работы имею право слегка освежиться». По дороге в «Бранса» я спросил, всегда ли он начинает работать так рано, на это он заметил, что вдохновение у него – в отличие от других «творческих деятелей» – всегда пропорционально силе солнечного света.

– Это чувство пробуждается во мне с восходом солнца и разгорается вместе со светилom, – объяснял он мне мелодичным голосом, пока сонный парень неподалеку от нашего столика выметал опилки с грязью и окурками после ночных посетителей «Бранса». – Я начинаю писать с первыми лучами. В полдень мой мозг пылает, как факел. Затем пламя спадает, и к сумеркам я останавливаюсь, ибо в черепе моем остаются лишь потухшие угли. Но это не имеет значения, так как по вечерам и по ночам во мне пробуждается – и лучше всего действует – актер. У меня превосходно разработанная система.

Педро Камачо говорил более чем серьезно, и я понял, что он едва ли замечает меня: он был из тех, кто нуждается не в собеседнике, а лишь в слушателе. Как и в первый раз, меня удивило в нем полное отсутствие чувства юмора, несмотря на деланные улыбки – вот раздвинулись губы, показав зубы, вот сморщился лоб, – которыми он сопровождал свой монолог. Речь

его была напыщенной, и это вместе с великолепной дикцией, странной внешностью, экстравагантной одеждой придавало ему совершенно необычный вид. Чувствовалось, что он верит абсолютно во все, о чем говорит; в то же время было ясно и другое: он – самый уважительный и искренний человек в мире. Я попытался спустить его с высот искусства, где он парил, на бrenную землю, к будничным делам, и спросил, устроился ли он, есть ли у него здесь друзья, как он чувствует себя в Лиме. Все эти земные темы ни капли не интересовали его. С нетерпеливым жестом он ответил, что снял себе «студию» недалеко от «Радио Централь» на улице Килка и что он великолепно чувствует себя где угодно: разве весь мир – не родина артиста? Вместо кофе он попросил чашку отвара йербалуисы¹² с мятой, который, как он меня просветил, не «только приятен на вкус, но и освежает мозг». Он пил короткими, размеренными глотками, будто отсчитывая точное время, и как только закончил, поднялся, настоял на том, чтобы мы уплатили поровну, а затем попросил помочь ему купить план Лимы, где были бы указаны не только улицы, но и кварталы города. Мы нашли то, что ему было нужно, на лотке бродячего торговца на улице Уньон. Он внимательно просмотрел карту, развернув ее под открытым небом, и с удовлетворением отметил наличие разноцветных границ, разделяющих кварталы. Потом потребовал от продавца счет на двадцать солей – именно столько стоил план.

– Это – орудие труда, и оплачивать его должны работодатели, – изрек он, когда мы возвращались каждый к своей работе. Походка его тоже была необычной: он все время дергался, будто боялся опоздать на поезд. В дверях «Радио Централь», прощаясь, он указал мне на свой тесный кабинет, как человек, демонстрирующий роскошный дворец.

– Практически мой кабинет находится на улице, – сказал он, явно уболаговворенный собой и положением вещей вообще. – Это все равно как если бы я работал на тротуаре.

– Вас не отвлекает шум? Здесь и прохожие, и машины, – осмелился заметить я.

– Напротив, – успокоил он меня, довольный, что может провозгласить еще одну сентенцию: – Я ведь пишу о жизни, и моим творениям нужны непосредственные впечатления от действительности.

Я уже уходил, когда Педро Камачо остановил меня, поманив пальцем. Указывая на план города, он попросил с таинственным видом предоставить ему – сегодня или в другой день – кое-какие данные о Лиме. Я ответил, что сделаю это с удовольствием.

У себя на верхотуре «Радио Панамерикана» я нашел Паскуаля с готовой радиосводкой для передачи в девять утра. Сообщение начиналось новостью из тех, что так нравились Паскуаля. Он добыл ее со страниц газеты «Кроника», обогатив текст эпитетами из собственного лексикона: «В бурном Антильском море вчера затонуло панамское грузовое судно “Акула”, причем погибли все восемь человек команды: одни захлебнулись в волнах, других сожрали акулы, которыми кишмя кишит вышеупомянутое море». Я заменил «сожрали» на «растерзали» и вычеркнул слова «бурное» и «вышеупомянутое», прежде чем поставил на материале свою визу. Паскуаль не рассердился – он никогда не сердился, но протест все же выразил:

– Ну вот, дон Марио! Обязательно подпортит мой стиль!

Всю эту неделю я пытался написать рассказ, основанный на событиях, о которых мне поведал дядя Педро, работавший врачом в одном из имений в Анкаше¹³. Однажды ночью какой-то крестьянин, нарядившись пиштако – так здесь называют дьявола – и засев в зарослях сахарного тростника, напугал соседа. Земляк, ставший жертвой розыгрыша, до того опешил, что рубанул своим мачете шутника, отправив его на тот свет с расколотым черепом. Потом убийца бежал в горы. Через некоторое время крестьяне, возвращавшиеся с праздника, увидели еще одного пиштако, который крадучись пробирался по селению, и забили его палками. Выяснилось, что убитый был убийцей первого пиштако и пользовался этой маскарадной личиной,

¹² Растение с ароматными листьями из семейства вербеновых, произрастающее в Перу.

¹³ Департамент Республики Перу.

чтоб навещать по ночам семью. Убийцы-крестьяне в свою очередь бежали в горы и, переодеваясь в пиштако, приходили по ночам в селение, где двоих из них зарубили мачете запуганные жители, в свою очередь бежавшие в горы, и так далее... Мне хотелось не столько изложить в рассказе события, происшедшие в имении, где трудился дядя Педро, сколько написать финал, вдруг порожденный моей фантазией: в какой-то момент среди многочисленных лжедьяволов неожиданно объявляется самый настоящий – живой и помахивающий хвостиком. Я вознамерился назвать свое произведение «Качественный скачок», и мне хотелось, чтобы оно было остранным, интеллектуалистским, сконденсированным и саркастическим, как рассказы Борхеса, которого в те дни я открыл для себя.

Рассказу я отдавал все свободные минуты, оставшиеся у меня от сводок для «Радио Пан-американа», от университета и бара «Бранса», я писал всюду и всегда – у бабушки с дедушкой, в полдень и по ночам.

В эту неделю я не обедал ни у кого из моих дядюшек и тетюшек, не был с визитом у кузин, даже не ходил в кино. Я писал и уничтожал написанное – точнее, как только я заканчивал фразу, она казалась мне ужасной, и все начиналось снова. Я был уверен, что орфографическая или каллиграфическая ошибка не бывает случайностью, что это – призыв к моему вниманию, особое предостережение от подсознания ли, от Господа Бога или еще от кого, указующее на то, что данная фраза никуда не годится и ее следует переделать. Паскуаль скрипел: «Черт побери! Если папа и сын Хенаро обнаружат такое разбазаривание бумаги, нам придется платить за нее из собственного кармана!» В конце концов, как-то в четверг, я решил, что рассказ окончен. Это был монолог на пять страниц, в финале которого обнаруживалось, что истинный дьявол и есть сам рассказчик. Я прочел «Качественный скачок» на нашей крыше Хавьеру после того, как была сдана радиосводка для передачи в двенадцать часов.

– Прекрасно, братец, – одобрил он и даже заплодировал. – Но неужели в наши дни еще можно писать о дьяволе? А почему не написать реалистический рассказ? Почему бы не выкинуть настоящего дьявола и предоставить действию развиваться среди лжечертей? Можно было бы создать фантастическую историю с участием всяких призраков, какие тебе нравятся. Но без дьяволов! Без дьяволов, ведь это пахнет религией, ханжеством, всем, что уже вышло из моды.

Когда Паскуаль ушел, я разорвал в клочки «Качественный скачок», бросив обрывки в мусорную корзину, решил забыть о пиштаках и отправился обедать к дяде Лучо. Там я узнал, что между боливийкой и типом, о котором я знал понаслышке – помещиком и сенатором из Арекипы¹⁴, доном Адольфо Сальседо, состоявшим в отдаленном родстве с нашим семейным кланом, – возникло нечто похожее на роман.

– Самое привлекательное в этом претенденте то, что у него есть деньги, связи и намерения его по отношению к Хулии серьезные, – говорила тетюшка Ольга. – Он предложил ей вступить в брак.

– А самое плохое в нем то, что дону Адольфо уже за пятьдесят и что он до сих пор не смог опровергнуть гнусных подозрений в свой адрес, – возражал дядюшка Лучо. – Если твоя сестра выйдет за него, ей придется либо остаться вечной девственницей, либо изменять мужу.

– Вся эта история с Карлотой – типичные сплетни кумушек из Арекипы, – продолжала спор тетя Ольга. – У Адольфо вид настоящего мужчины.

«История» сенатора и доньи Карлоты была мне хорошо известна, так как в свое время послужила темой для другого моего рассказа, после комментариев Хавьера также нашедшего свое место в мусорной корзине. Этот брак потряс весь юг страны, ибо дон Адольфо и донья Карлота владели землями в Пуно¹⁵ и их союз вызвал широкий резонанс среди тамошних

¹⁴ Второй по значению город Перу, центр одноименного департамента.

¹⁵ Департамент на юге Перу.

латифундистов. Все происходило на высшем уровне: бракосочетание состоялось в живописной церкви в Янауара, приглашенные понаехали со всех концов Перу, а банкет был достоин Пантагрюэля. После двух недель медового месяца молодая супруга бросила своего мужа в каком-то уголке земного шара и вернулась одна в Арекипу, вызвав тем самым громкий скандал и объявив, ко всеобщему изумлению, что будет просить Папу Римского расторгнуть ее брак. Матушка дон Адольфо Сальседо, встретив Карлоту после утренней мессы, здесь же, на паперти собора, спросила ее, не тая своей ненависти:

– Почему ты бросила моего бедного сына, бандитка? Да еще таким манером!

На что латифундистка из Пуно, сопровождая свои слова выразительным жестом, ответила во всеуслышание:

– Потому что у вашего сына, сеньора, то, чем обладает каждый кабальеро, служит только для того, чтобы делать пипи.

Карлота добила разрешения церковных властей на расторжение брака с Адольфо Сальседо, ставшего с тех пор неперенной мишенью для шуток на всех семейных сборищах. Едва познакомившись с тетушкой Хулией, дон Адольфо осаждал ее приглашениями посетить ночной бар «Боливар» или ресторан «91», дарил духи, слал корзины роз. Я был счастлив, узнав об этом романе, и ждал лишь появления тетушки Хулии, чтобы подпустить шпильку по поводу нового претендента. Но она испортила мне всю игру. Войдя в столовую, когда мы уже пили кофе, – в руках у нее был ворох пакетов, – тетушка объявила, громко смеясь:

– Слухи подтвердились! Действительно, у сенатора Сальседо «гобой» уже не играет...

– Хулия, ради бога! Как ты себя ведешь?.. – запротестовала тетя Ольга. – Каждый может подумать, что ты...

– Он сам рассказал мне все сегодня утром, – пояснила тетушка Хулия, хохоча во все горло над трагедией латифундиста.

Выяснилось, что до двадцати пяти лет Адольфо был вполне нормальным человеком. Он находился, к своему несчастью, на отдыхе в Соединенных Штатах, когда с ним произошел ужасный случай. То ли в Чикаго, то ли в Сан-Франциско или в Майами – тетушка Хулия не помнила, где именно, – молодой Адольфо покорил (как он считал) некую даму в одном кабаре. Она привезла его в отель. Рандеву достигло своего апогея, как вдруг Адольфо ощутил спиной острие ножа. Адольфо повернулся: над ним стоял какой-то тип, одноглазый, двухметрового роста. Нет, его не ранили, не избили, у него просто отобрали доллары, часы и нательный образок. Так это все началось... И кончилось... Навсегда. С тех пор всякий раз, находясь рядом с женщиной и готовясь к любовному поединку, дон Адольфо чувствовал на позвоночнике холод металла, перед ним всплывало зверское лицо одноглазого, – он покрывался испариной, и весь его любовный пыл улетучивался. Сенатор советовался с сотнями врачей, психиатров, обращался даже к знахарю из Арекипы, который заставлял его заживо зарываться в землю лунной ночью у подножия вулканов.

– Не будь так жестока! Не смейся! Бедняжка дон Адольфо! – Тетя Ольга содрогалась от смеха.

– Знай я наверняка, что он так и останется травмированным, я бы вышла за него замуж... ради денег, – отвечала без колебаний тетушка Хулия. – Ну а вдруг я его вылечу? Представьте только старикана, пытающегося наверстать со мной все упущенное им за это время!

Я подумал, какое удовольствие доставило бы Паскуэлю приключение сенатора из Арекипы; с каким рвением он готовил бы радиосводку, целиком посвященную этой теме. Дядя Лучо предупредил тетушку Хулию, что, если она и впредь останется столь привередливой, ей трудно будет подыскать себе жениха в Перу. Она пожаловалась, что и здесь, как в Боливии, все симпатичные парни бедны, а все богатые – препротивны, а если появляется молодой, богатый и красивый мужчина, он обязательно чей-то муж. Вдруг она обернулась ко мне и спросила: не из

опасения ли, что меня вновь потащат в кино, я не показывался у них целую неделю. Я сказал, что нет, не поэтому, выдумал какие-то экзамены и предложил ей пойти в кино в тот же вечер.

– Великолепно, пойдем в кинотеатр «Леуро», – безапелляционно заявила она. – На этом фильме буквально все рыдают.

В автобусе по дороге на радиостанцию я вновь вернулся к мысли написать историю Адольфо Сальседо, нечто легкое, ироничное в стиле Сомерсета Моэма или лукаво-эротичное в духе Мопассана.

В кабинете Хенаро-сына сидела в одиночестве и покатывалась от хохота его секретарша Нелли. В чем дело?

– На «Радио Централь» между Педро Камачо и Хенаро-отцом возник конфликт, – рассказывала Нелли. – Боливец заявил, что отказывается от аргентинских актеров в радиопостановках. В противном случае он уходит. Добился поддержки Лусиано Пандо и Хосефины Санчес и настоял на своем. Контракты со всеми аргентинцами разорваны. Вот дела-то!

Надо отметить, что между местными дикторами, чтецами и актерами и приглашенными из Аргентины было острое соперничество. Аргентинцы прибывали в Перу целыми партиями, многие были вынуждены покинуть свою страну по политическим мотивам; я подумал было, что боливийский писака провел эту операцию, дабы завоевать симпатии местных сотрудников. Но дело обстояло иначе. Вскоре я обнаружил, что Педро Камачо не был способен на столь расчетливые действия. Его неприязнь к аргентинским актерам и актрисам не связывалась с корыстными соображениями.

Я отправился к Педро Камачо после радиосводки в семь вечера – сообщить, что у меня выдалась свободная минута и я могу ему помочь: изложить интересующие его сведения о городе. Он провел меня в свою клетушку и царственным жестом предложил единственно возможное место для сидения (не считая его собственного стула) – угол развалины, служившей ему письменным столом. Он был в неизменном пиджаке и неизменном галстук-бабочке, по-прежнему вокруг него лежали отпечатанные на машинке листки, на этот раз он аккуратно сложил их стопочкой у «ремингтона». Часть стены закрывал план города, прикрепленный кнопками. Теперь он оказался густо испещренным цветными знаками, красным карандашом были начерчены какие-то странные фигуры, и разные кварталы помечены заглавными буквами. Я спросил его, что означают эти символы и буквы.

Он изобразил подобие улыбки, привычно сочетающей глубокое самоудовлетворение с благожелательностью, и, усаживаясь в кресло, изрек:

– Я пишу о жизни, мои произведения связаны с реальностью, как кисть винограда с лозой. Именно поэтому мне и понадобится этот план Лимы. Я хочу знать, таков или не таков этот мир.

Он указал на план, и я напряг зрение, пытаюсь понять, что же он хочет сказать. Заглавные буквы ни о чем не говорили, не связывались ни с одним знакомым мне учреждением или частным лицом. Единственно мне стало ясно: красным карандашом очерчены различные кварталы районов Мирафлореса и Сан-Исидро, Ла-Виктории и Кальяо. Я сказал, что абсолютно ничего не понимаю и жду его пояснений.

– Все очень просто, – нетерпеливо и назидательно ответил Педро Камачо. – Самое главное – это правда, ибо в правде – искусство. А где ложь, там вовсе нет или почти нет искусства. Я должен знать, соответствует ли город на плане, помеченном моими знаками, истинной Лиме. Скажем, соответствуют ли району Сан-Исидро два заглавных «А», нанесенных мною. То есть является ли этот район местом проживания «Абсолютной Аристократии»?

Он особенно упирал на два заглавных «А», как если бы хотел подчеркнуть, что «лишь слепцы не замечают солнца». Все городские районы были обозначены Педро Камачо соответственно их социальной характеристике. Самым интересным во всем этом были определения, сущность введенной им «номенклатуры». В некоторых случаях Педро оказался прав, в других

его выводы были произвольными. Я, например, согласился, что сокращение «СБРД» (то есть средняя буржуазия, ремесленники, домохозяйки) могло относиться к району Хесус-Мария, но явно несправедливо обозначать районы Ла-Виктория и Порвенир беспощадной аббревиатурой «БГЖП» (бродяги, гомосексуалисты, жулики, проститутки) и что очень спорно сводить весь район Кальяо к «МРМ» (моряки, рыбаки и мулаты), а Серкадо и Эль-Агустино – к «СРЧИ» (служанки, рабочие, чиновники, индейцы).

– Дело заключается не в научной, а, так сказать, в художественной классификации, – заявил Педро Камачо, жестикулируя, как иллюзионист, своими крохотными ручками. – Меня интересует не *весь* народ, проживающий в данном районе, а самые характерные его представители, те, кто придает этому уголку своеобразный аромат, своеобразную окраску. Если персонаж по профессии гинеколог, то ему следует проживать там, где ему положено, что полностью относится и к сержанту полиции.

Сохраняя присущую ему похоронную мину, он подверг меня тщательному и смешному допросу о человеческой топографии города, из чего я понял, что его интересовали только крайности: миллионеры и нищие, белые и черные, святоши и преступники. В зависимости от моих ответов он добавлял, изменял или стирал свои обозначения на плане быстрыми, решительными движениями, и это убедило меня, что он придумал и пользовался данной системой классификации уже давно. Почему же тогда он разметил своими обозначениями лишь городские районы Мирафлорес, Сан-Исидро, Ла-Виктория и Кальяо?

– Потому что, скорее всего, именно они станут основным местом действия, – ответил он, рассматривая своими выпученными глазами отмеченные районы с удовлетворением Наполеона, выигравшего битву. – Я ненавижу полутона, не выношу мутную воду и жидкий кофе. Мне нравятся либо «да», либо «нет», мужественные мужчины и женственные женщины, ночь или день. В моих произведениях всегда действуют аристократы и плебеи, проститутки или праведницы. Середина меня, как и мою публику, не воодушевляет.

– Вы очень похожи на писателя-романтика, – пришло мне в голову произнести это в недобрый час.

– Они, они похожи на меня! – подскочил Педро Камачо на своем стуле, и в голосе его прозвучала глубокая обида. – Я никогда не занимался плагиатом! Меня можно упрекнуть в чем угодно, но только не в этом грехе. А вот меня обкрадывали, и притом самым чудовищным образом!

Я хотел убедить его, что о сходстве с писателями-романтиками было сказано не с намерением обидеть, что это была шутка, но он не слушал меня и, неожиданно впав в крайнюю ярость и неистово жестикулируя, будто ему внимала целая аудитория, обрушил на меня водопады красноречия:

– Вся Аргентина переполнена моими произведениями, изуродованными на берегах Ла-Платы. Вы когда-нибудь встречались с аргентинцами? Сойдите с дороги, если на вашем пути попадется один из них...

Он побледнел, ноздри его подрагивали. Стиснув зубы, он изобразил на лице крайнее отвращение. Я растерялся перед этим неожиданным проявлением его характера, пробормотав нечто уклончивое и избитое – жаль, мол, что в Латинской Америке не существует законов об охране авторских прав, и обидно, когда интеллектуальный труд лишен всяких гарантий и защиты. И снова попал пальцем в небо.

– Речь не об этом! Меня не волнует, что мои произведения переименовывают, крадут... – ответил мне Педро Камачо в еще большем исступлении. – Мы, художники, работаем не во имя славы, а во имя любви к человеку. Разве можно желать лучшего? Пусть мои произведения расходятся по всему миру, пусть даже под другими названиями. Но я не могу простить этим щелкоперам с Ла-Платы, что они корежат мои сценарии, уродуют написанное мною! Знаете

ли вы, что они делают? Они не только меняют названия моих драм и, естественно, имена персонажей. Но еще пропитывают их своим...

– Высокомерием, – прервал я его, уверенный, что уж на этот раз попаду в точку. – Легкомыслием.

Он презрительно покачал головой и горестным жестом провел по глазам рукой, как бы отгоняя от себя докучливых призраков. Затем с грустной миной закрыл окна своей каморки, поправил на шее галстук-бабочку, вынул из стола толстенную книгу, засунул ее под мышку и, показав мне на выход, потушил свет и запер свою конуру. Я спросил, что за книгу он взял. Камачо уважительно и ласково провел рукой по корешку переплета, будто гладил кошку.

– Старый спутник моих странствий! – прошептал он с волнением, протягивая мне фолиант. – Верный друг и прекрасный помощник в работе.

Книга, опубликованная в доисторические времена испанским издательством «Эспаса Кальпе» – ее плотный переплет был испещрен царапинами и множеством пятен, а страницы пожелтели, – принадлежала перу неизвестного, но достаточно титулованного автора (Адальберто Кастехон де ла Регера, лицензиат классической литературы, грамматики и риторики университета Мурсии). Труд имел длинное название: «Десять тысяч цитат из произведений ста лучших писателей мира». Был и подзаголовок: «Что говорили Сервантес, Шекспир, Мольер и др. о Боге, Жизни, Смерти, Любви, Страданиях и т. д.».

Мы уже шли по улице Белен. Протянув ему на прощание руку, я решил взглянуть на часы и ужаснулся: было десять вечера. Мне казалось, будто я провел с артистом всего минут тридцать, а на самом деле социозлословный анализ города и проклятия в адрес плагиаторов заняли у нас целых три часа! Я помчался на радиостанцию, уверенный в том, что Паскуаль все пятнадцать минут радиосводки, передаваемой в девять вечера, посвятил какому-нибудь поджигателю из Турции или детоубийце из столичного района Порвенир. Но видимо, дела обстояли не так уж плохо, потому что в лифте я встретил обоих Хенаро и не заметил никаких признаков недовольства. Они рассказали, что в этот вечер подписали контракт с Лучо Гатикой на его выступления в течение недели как гостя «Радио Панамерикана». В своем «кабинете» на крыше я проверил сводки, и они оказались вполне «вещательными». Не торопясь я пошел к автобусу на площади Сан-Мартина, чтобы отправиться в Мирафлорес. Лишь к одиннадцати часам вечера я добрался до своих стариков – дедушка с бабушкой уже спали. Они всегда оставляли мне ужин на плите. На этот раз рядом с блюдом риса и холодной яичницей – таково было мое неизменное меню – лежало послание, написанное дрожащей рукой: «Звонил твой дядя Лучо. Что ты обманул Хулиту, потому что вы должны были идти в кино. Что ты – дикарь и чтобы ты позвонил ей и извинился. Дед».

Конечно, забыть о радиосводках и о свидании с дамой из-за боливийского писаки – это уж слишком! Улегся я в плохом настроении и с беспокойной душой, чувствуя, что невольно проявил себя невежей. Я все крутился и вертелся в кровати, пытаюсь заснуть и стремясь убедить себя, что виновата была прежде всего сама Хулита, навязавшая мне эти экскурсии в кино всякими недостойными уловками. Пришлось поломать голову в поисках извиняющего меня предлога для завтрашнего разговора с ней по телефону. Ничего дельного в голову не пришло, а сказать ей правду я не решился. Но все-таки сделал смелый шаг. После передачи сводки в восемь утра я отправился в центр города, заглянул в цветочный магазин и послал ей букет роз, который обошелся мне в сто солей, и прикрепил к нему визитную карточку, где после долгих сомнений написал фразу, казавшуюся мне образцом лаконизма и элегантности: «С глубокими извинениями».

Вечером в промежутке между подготовкой радиосводок я сделал несколько набросков моего эротико-плутовского рассказа о трагедии сенатора из Арекипы. Я собирался серьезно поработать в этот вечер над рассказом, но после основной передачи вдруг пришел Хавьер и увел меня на сеанс спиритизма в квартал Барриос-Альтос. Медиумом был канцелярист, с

которым Хавьер познакомился в Ипотечном банке. Он много рассказывал мне об этом типе, который посвящал Хавьера в тайны своих сношений с духами, посещавшими его не только на специальных сеансах, но и просто так, вдруг и при самых неожиданных обстоятельствах, что доставляло ему бесконечные неприятности. Духи имели обыкновение подшучивать над канцеляристом: скажем, звонили ему на рассвете по телефону; сняв трубку, он слышал на другом конце провода неповторимое хихиканье своей прабабки, скончавшейся полвека назад и с тех пор пребывавшей в чистилище (об этом она сообщила ему лично). Духи являлись в автобусах, маршрутных такси, гуляли по улицам. Они нашептывали канцеляристу в ухо, а он должен был хранить полное молчание и невозмутимость – кажется, он называл это «игнорировать», – чтобы окружающие не сочли его сумасшедшим. Потрясенный такими сведениями, я просил Хавьера договориться о сеансе с канцеляристом-медиумом. Он согласился, но вот уж которую неделю сеанс откладывался: чиновник ссылаясь на неблагоприятные метеорологические условия. Выяснилось, что необходимо дожидаться определенной фазы луны, смены приливов и отливов и других более важных факторов, ибо духи, видимо, были очень чувствительны к влажности, ветру, сочетанию звезд и так далее. Но наконец день настал.

Великим нашим достижением было прежде всего то, что мы отыскали жилище канцеляриста-медиума – мрачную крохотную квартирку, затиснутую среди других квартир в глубине дома на улице Кангальо. Медиум был мужчиной лет шестидесяти, вдовцом, лысоватым, от которого пахло какими-то притираниями; взгляд у него был бычий, и разговор он вел настолько банальный, что никто не мог бы заподозрить его в общении с духами. Он принял нас в грязной, обшарпанной комнатке, предложил пресные галеты с кусочком сыра и по крохотной стопочке писко. Пока не пробил полночь, он уверенно повествовал нам о своем опыте общения с загробным миром. Все началось с момента, когда он овдовел – лет двенадцать назад. Смерть жены повергла его в неутешную печаль, от которой его спас один из друзей, познакомив со спиритизмом. Это событие стало главным в его жизни.

– И не только потому, что человек получает возможность по-прежнему видеть и слышать дорогих ему существ, – вещал канцелярист тоном, принятым при церемонии крещения, – но еще и потому, что это – прекрасное развлечение, часы летят, а ты их не замечаешь.

От его рассказов возникало ощущение, будто переговоры с мертвецами, по сути, схожи с просмотром кинофильма или футбольного матча (хотя, несомненно, не столь привлекательны). По описаниям медиума, загробная жизнь была совсем будничной, невоодушевляющей. Если судить по тому, что ему поведали духи, никакой разницы в «качестве» жизни здесь и там не существовало: духи болели, влюблялись, вступали в брак, рожали детей, путешествовали, но – единственное, что их отличало от живых, – никогда не умирали. Я уже бросал на Хавьера убийственные взгляды, как вдруг часы пробил полночь. Канцелярист усадил нас вокруг стола (не круглого, а квадратного), потушил свет и приказал нам соединить руки. Несколько минут прошло в молчании. Я, раздраженный ожиданием, подумал было с надеждой, что дело наконец становится любопытным, но, едва появились «духи», канцелярист все тем же будничным голосом стал задавать им скучнейшие вопросы: «Как дела, Зоилита? Счастлив слышать тебя. Тут у меня как раз сидят друзья, очень хорошие люди, они тоже хотят вступить в контакт с твоим миром, Зоилита. Что ты говоришь? Как? А, приветствовать их? Ну конечно, Зоилита! Я передам им приветы от тебя. Она говорит (это уже обращаясь к нам), чтобы я сердечно приветствовал вас, и просит по возможности время от времени молиться за нее, чтобы она поскорее могла покинуть чистилище».

После Зоилиты появлялись другие родственники и друзья, с которыми канцелярист вел подобного же рода переговоры. Все они находились в чистилище, все посылали нам приветы, все просили молиться за них. Хавьер настаивал, чтобы медиум вызвал кого-нибудь, кто находился непосредственно в аду, чтобы таким образом разрешить наши сомнения, но медиум без колебаний заявил, что это невозможно: пребывающих там можно вызывать лишь в течение

трех первых дней нечетных месяцев, да и голос их еле слышен. Тогда Хавьер попросил вызвать няню, вырастившую его мать, братьев и его самого. Появилась донья Гумерсинда, тоже передала нам привет, сообщила, что вспоминает Хавьера с большой нежностью и уже связывает свой узелок, собираясь покинуть чистилище и отправиться на встречу с Господом Богом. Я попросил канцеляриста вызвать моего брата Хуана. И, к моему удивлению (у меня никогда не было братьев), он явился и передал мне ханжеским голосом медиума, что я могу за него не беспокоиться, ибо он находится в раю и всегда за меня молится. Успокоенный этим сообщением, я перестал интересоваться дальнейшим ходом сеанса и занялся обдумыванием своего рассказа о сенаторе. Мне пришло в голову загадочное название: «Неполноценное лицо». В то время как Хавьер без устали требовал вызвать какого-нибудь ангела или, на худой конец, историческую личность вроде Манко Капака¹⁶, я пришел к заключению, что сенатор мог бы решить свою проблему с помощью уловки фрейдистского характера: в нужный момент ему следовало бы накинуть на глаза супруги пиратскую повязку.

Сеанс окончился около двух часов ночи. Пока мы брели по улицам Барриос-Альтос в поисках такси, которое доставило бы нас на площадь Сан-Мартина, где можно было сесть на микроавтобус, я довел Хавьера до бешенства, заявив, что по его вине загробный мир потерял для меня всю свою поэтичность и очарование, ибо благодаря ему же мне теперь ясно, что все мертвецы превращаются в дураков; и опять-таки из-за него я не смогу оставаться агностиком и мне придется отныне всю жизнь мучиться сомнениями, не ждут ли меня в иной жизни, *если она существует*, вечная скука и кренинизм. Мы нашли такси, и в наказание его оплатил Хавьер.

Дома рядом с неизменной лепешкой, яичницей и рисом я нашел еще записку: «Тебе звонила Хулита. Что получила твои розы, что они очень красивые, что ей понравились, чтобы ты не думал, будто розы освобождают тебя от того, чтобы сводить ее в кино в любой из этих дней. Дед».

На следующий день отмечали день рождения дяди Лучо. Я купил ему в подарок галстук и уже собирался направиться к ним в полдень, когда на нашей крыше неожиданно возник Хенаро-сын и потащил меня обедать в ресторан «Раймонди». Он хотел, чтобы я помог ему отредактировать рекламные объявления, подготовленные им для публикации в воскресных газетах, о начале – в следующий понедельник – радиопостановок Педро Камачо. Но разве не логичнее, чтобы сам артист принял участие в редактировании этих объявлений?

– Дело в том, что он отказался, – объяснил мне Хенаро-сын, дымя сигаретой, как труба. – Его сценарии, видите ли, не нуждаются в продажной рекламе, они, видите ли, сами завоевывают себе публику и так далее! В общем, этот тип, как выясняется, тяжелый случай, он просто одержим всевозможными маниями! Насчет аргентинцев ты уже в курсе? Он заставил нас расторгнуть контракты, и мы вынуждены оплатить неустойку. Надеюсь, что предложенные им программы оправдают его высокомерие.

Мы отредактировали объявления, съели по жареной рыбе, выпили холодного пива, провозжая взглядом сереньких мышек, сновавших временами по балкам у потолка ресторана «Раймонди» и как будто специально запускаемых туда, чтобы подтвердить вековую историю этого заведения, после чего Хенаро-сын рассказал мне еще об одном конфликте с Педро Камачо. Причина конфликта – герои четырех радиодрам, с которыми Камачо намеревался дебютировать в Лиме. В каждой из драм героем был пятидесятилетний мужчина, «удивительно хорошо сохранившийся».

– Мы толковали ему, ссылаясь на нашу практику, что публика предпочитает героев от тридцати до тридцати пяти лет, но этот тип упрям как мул, – жаловался Хенаро-сын, выпуская дым через ноздри. – Что, если я ошибся и боливиец вызовет грандиозный провал?

¹⁶ Глава государства инков, существовавшего на территории современного Перу в XIII веке.

Я вспомнил, как накануне в клетушке «Радио Централь» артист вдохновенно разглагольствовал о том, что такое пятьдесят лет для мужчины. Он утверждал, что в этом возрасте мужчина достигает вершины своих умственных и физических возможностей, жизненного опыта, что в этом возрасте он как никогда желанен для женщин и опасен для других мужчин. С настойчивостью, показавшейся мне подозрительной, он повторил, что старость – это нечто вроде «вседозволенности». Из всего сказанного я уяснил: боливийцу уже исполнилось пятьдесят, его пугала старость – тень человеческой слабости на его гранитном духе.

Когда мы закончили работу над рекламой, уже было поздно отправляться в Мирафлорес. Я позвонил дяде Лучо и предупредил, что приеду вечером его поздравить. По моим предположениям, в доме будет сборище родственников, приехавших поздравить дядюшку, но никого, кроме тети Ольги и тетушки Хулии, не оказалось – парад родни состоялся днем. Дядюшка и тетушки пили виски, налили и мне. Тетушка Хулия еще раз поблагодарила меня за розы – я увидел букет на серванте в зале, и роз там было совсем немного, – и, как всегда, стала остеречь, требуя, чтобы я покался и рассказал, что за «программа» была у меня в тот вечер, когда я надул ее: девица из университета или вертихвостка на радио? На Хулии было голубое платье, белые туфли, на лице – косметика, а прическа – только что из парикмахерской; она смеялась громко и откровенно, говорила несколько хрипловатым тоном, вызывая поглядывая на меня. С некоторым опозданием я обнаружил, что она привлекательна. Дядя Лучо в порыве энтузиазма заявил: пятьдесят лет бывает лишь раз в жизни – и предложил поехать в ресторан «Боливар». Я подумал: вот уже второй день подряд мне приходится откладывать редактуру текста о сенаторе-евнухе и извращенце (а может быть, так и следует назвать рассказ?), но потом решил не жалеть об этом. Приятно было окунуться в праздник. Тетя Ольга, оглядев меня, заявила, что мой вид – не лучший для такого ресторана, и заставила дядю Лучо одолжить мне чистую рубашку и вызывающей расцветки галстук, которые хоть немного должны были скрасить поношенность и измятость моего костюма. Рубашка была мне велика, я испытывал неловкость из-за воротничка, болтавшегося вокруг шеи, а это привело к тому, что тетушка Хулия стала называть меня Попей¹⁷.

Я никогда не бывал в ресторане «Боливар», и он показался мне изысканнейшим и элегантнейшим местом в мире, а еда – самой утонченной из всего, что я когда-либо пробовал. Оркестр исполнял болеро, пасодобли, блюзы; звездой шоу была молочно-белая француженка, которая так сладострастно мурлыкала песенки, что создалось впечатление, будто она насилует микрофон, и которую дядя Лучо, будучи в прекрасном настроении, все повышавшемся по мере того, как он опустошал бокалы, громко приветствовал на странном языке, полагая, что говорит на чистом французском: «Враво-о-о-о! Враво-о-о-о! Мамазель Черри!» Первым, кто бросился танцевать, был я. К своему великому удивлению, я потащил на площадку тетушку Ольгу, хотя совершенно не умел танцевать. В то время я был твердо убежден, что литературное призвание несовместимо с танцами и спортом, однако, к счастью, народу было так много, что в полумраке и тесноте никто не догадался о моем невежестве в области хореографии. Тетушка Хулия, в свою очередь, доставила немало хлопот дяде Лучо, заставив его танцевать, не держась за нее руками, и к тому же выделять всяческие па. Танцевала она хорошо – и многие мужчины провожали ее взглядом.

На следующий танец я пригласил тетушку Хулию, предупредив, что танцевать не умею, но, так как музыканты играли очень медленный блюз, я достойно выполнил свои функции.

Мы станцевали еще дважды, постепенно отдаляясь от столика, за которым сидели дядя Лучо и тетя Ольга. В момент, когда музыка смолкла и тетушка Хулия явно собиралась освободиться от меня, я задержал ее и поцеловал в щеку, совсем близко от губ. Она посмотрела на меня с таким удивлением, будто на глазах у нее совершилось чудо. Оркестранты сменялись, и

¹⁷ Герой американских комиксов – незадачливый старый моряк.

нам пришлось вернуться к столику. Здесь тетушка Хулия вновь стала подшучивать над дядей Лучо по поводу его пятидесятилетия – рубежа, после которого все мужчины превращались в «старых хрычей». Иногда она бросала на меня быстрый взгляд, как бы удостовераясь, на месте ли я, и по ее глазам я уяснил: у нее не укладывалось в голове, как это я ее поцеловал. Тетя Ольга уже устала и уговаривала нас уйти, но я настоял еще на одном танце. «Интеллигент начинает разлагаться», – констатировал дядя Лучо и увлек тетю Ольгу на последний танец. Я пригласил тетушку Хулию, и все время, пока мы танцевали, она – впервые – молчала. Лишь только дядя Лучо и тетя Ольга затерялись среди танцующих, я слегка привлек к себе тетушку Хулию и коснулся своей щекой ее щеки. «Послушай, Марито», – долетел до меня ее растерянный шепот, но тотчас же я прервал ее, сказав на ухо: «Запрещаю тебе впредь называть меня Марито!» Она чуть откинула голову, чтобы взглянуть на меня, попыталась улыбнуться, и тогда, почти бессознательно, я наклонился и поцеловал ее в губы. Все случилось мгновенно, она не ожидала этого и от удивления даже остановилась. Она была явно потрясена: глаза широко раскрылись, губы разомкнулись. Музыка смолкла. Дядя Лучо оплатил счет, и мы ушли. По дороге в Мирафлорес – мы с тетушкой Хулией сидели вдвоем на заднем сиденье машины – я взял ее руку, нежно сжал и уже не отпускал. Она не убирала руки, но не произнесла ни слова, вид у нее по-прежнему был чрезвычайно растерянный. Выйдя у дома своих стариков, я спросил себя, на сколько же лет она старше меня.

IV

Ночь в Кальяо¹⁸ – влажная и темная, как волчья пасть. Сержант Литума поднял воротник плаща, потер руки и приготовился исполнять свой долг. Это был человек в расцвете сил – ему было пятьдесят, уважаемый всей полицией: не ропща, он нес службу в самых опасных местах и лихо сражался с преступностью, о чем свидетельствовали шрамы на его теле. Тюрьмы Перу кишели злоумышленниками, руки которых он сковал наручниками. Его приводили в качестве примера в приказах, отмечали в официальных речах, дважды он был награжден, но все эти заслуги и слава не повлияли на его скромность, столь же великую, как и его храбрость и честность. Вот уже год Литума служил в четвертом полицейском комиссариате Кальяо и вот уже три месяца выполнял самую трудную обязанность, каковой судьба может наградить сержанта, несущего службу в порту: ночные дежурства.

Далекие колокола на церкви Божьей Матери Кармен де ла Легуа пробили полночь, и пунктуальный, как всегда, сержант Литума – широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, сама исполнительность и предупредительность – отправился в путь. За его спиной, как слабый огонек во мраке, осталось старое деревянное строение четвертого полицейского комиссариата. Сержант представил себе: лейтенант Хаиме Конча, естественно, листает комиксы про Утенка Дональда¹⁹, полицейские Сопливый Камачо и Яблочко Аревало, наверное, балуются свежесваренным кофе с сахаром, а единственный арестованный за день – вор-карманник, пойманный на месте преступления в автобусе на маршруте Чукуито – Ла-Парада и хорошо отлупцованный полудюжиной разъяренных пассажиров, – скорее всего, спит, скорчившись на полу камеры.

Сержант начал свой обход с кварталов Нового Порто, где нес службу Курносый Сольдевилля, изрядный лодырь, но вдохновенный исполнитель тондерос²⁰. Новый Порт наводил ужас на всех полицейских и детективов Кальяо, потому что из проживавших в его лабиринтах обитателей – хижин здесь были сооружены из досок, консервных банок, обрезков оцинкованного железа и сухого навоза – лишь самая незначительная часть зарабатывала на хлеб, рыбака или разгружая суда в порту. Большинство же были бродяги, воры, пьяницы, жулики и педерасты (не говоря уже о бесчисленных проститутках), которые по любому поводу вытаскивали ножи или палили друг в друга из пистолетов. Камни этого квартала, где не было ни воды, ни канализации, ни света, ни мостовых, не раз орошались кровью служителей закона. Но нынешняя ночь была на удивление мирной. Спотыкаясь о невидимые кочки, морщась от бьющего в нос зловония, исходившего от экскрементов и пищевых отходов, сержант Литума обходил залитые мочой уголки квартала в поисках Курносого и думал: «Холод рано уложил сегодня ночью бродяг». Стояла середина августа, зима была в разгаре; густой туман скрадывал и размывал очертания предметов, мелкий, но упорный дождик пропитывал влагой воздух, и ночь становилась грустной и неприветливой. Куда же запропастился Курносый Сольдевилля? Этот лентяй, испугавшись холода и бандитов, наверное, отправился в поисках тепла и глотка писко в таверны на авениде Уаскар.

«Нет, пожалуй, не осмелится, – подумал сержант Литума. – Он знает, что я обхожу посты и, если его не будет на месте, ему влетит».

Он нашел Курносого у фонарного столба на углу, ближе к бойням и складам. Полицейский яростно тер руки, лицо его было обмотано каким-то фантастическим шарфом, из-

¹⁸ Главный перуанский порт близ Лимы.

¹⁹ Персонаж американских комиксов и детских фильмов.

²⁰ Народный перуанский танец, исполняемый в сопровождении куплетов.

под которого выглядывали одни глаза. Заметив человека, Курносый дернулся и поднес руку к кобуре, но, узнав начальство, щелкнул каблуками.

– Вы испугали меня, мой сержант, – сказал он смеясь. – В темноте показались мне привидением.

– Какое еще привидение... что ты мелешь, – протянул ему руку Литума. – Просто принял меня за ворюгу.

– Слава богу, ворюги в такой холод не шляются, – снова потер руки Курносый. – Единственные психи, которых в такую слякоть носит по улицам, – это вы да я. И еще вон те.

Он показал на бойни, и сержант, напрягая зрение, различил на краю крыши с полдюжины стервятников, которые сидели рядом, запрятав голову под крыло. «Оголодали, – подумал Литума. – Замерзнут, но будут сидеть, если учуяли мертвечину». Курносый Сольдевиля расписался в акте обхода при слабом свете фонаря изгрызанным карандашиком, терявшимся в его пальцах. Никаких новостей: ни преступлений, ни происшествий, ни пьянок.

– Тихая ночь, мой сержант, – сказал Курносый, провожая Литума несколько кварталов в направлении авениды Манко-Капака. – Надеюсь, и дальше так пойдет, пока не появится смена. А потом пусть все катится к чертям собачьим.

Он засмеялся, будто сказал нечто очень остроумное, и сержант Литума подумал: «Вот как мыслят некоторые полицейские!» И не ошибся, ибо Курносый Сольдевиля тут же добавил уже вполне серьезно:

– Я ведь не то что вы, мой сержант. Не нравится мне все это. Я ношу форму только ради хлеба.

– Ты не носил бы ее, будь это в моей власти, – проворчал сержант. – Я держал бы на службе лишь тех, кто верит в наше дело.

– Кто бы остался тогда в полиции... – возразил Курносый.

– Уж лучше быть одному, чем в плохой компании, – засмеялся сержант.

Они шли в темноте по пустырю, окружавшему факторию Гуадалупе, где охотники за собаками постоянно разбивали камнями лампочки на столбах. Вдалеке был слышен гул моря и время от времени – шум мотора такси, пересекавшего авениду Аргентины.

– Вам бы хотелось, чтобы все мы были героями, – вдруг проговорил полицейский. – Чтобы мы из кожи лезли, защищая этот мусор. – Он показал в сторону Кальяо, в сторону Лимы и на все вокруг. – Разве нас отблагодарят? Разве нас кто-нибудь уважает? Не слышали, что кричат нам вслед? Народ презирает нас, мой сержант.

– Здесь мы прощаемся, – сказал Литума у авениды Манко-Капака. – Не выходи из своей зоны. И не злись. Ждешь не дожدهшься, чтобы удрать, а когда тебя выгонят, будешь выть, как пес. Именно так и случилось с Пухлявым Антесаной. Потом приходил к нам в комиссариат и со слезами на глазах ныл: «Семью я потерял...»

Сержант услышал, как за его спиной Курносый пробурчал:

– Семья без женщины – какая это семья?

Возможно, Курносый прав, думал сержант Литума, шагая в полночь по пустынной авениде. Действительно, народ не любит полицейских и вспоминает о них, только когда испытывает страх. Ну и что же! Он старался не для того, чтобы люди уважали или любили его. «Народ я ни в грош не ставлю», – думал он. Тогда почему же он относился к своей полицейской службе иначе, чем его товарищи, которые не гробили себя на работе и пользовались любым случаем, чтобы отлынивать от дел или заработать несколько грязных солей, едва отвернется начальство? Почему это так, а, Литума? «Потому что тебе тут нравится, – опять подумал он. – Другим нравится футбол или бега, а тебе – твоя работа. Вот почему». Ему пришло в голову, что, если какой-нибудь футбольный болельщик спросит его однажды: «Ты за кого, Литума, за “Спорт бойз” или за “Чалако”?» – он ответит: «Я болельщик Национальной полиции». Он шел, посмеиваясь, сквозь туман, сквозь ночь, сквозь дождь, довольный своим остроумием, и в этот

момент расслышал шум. Сержант рванулся было, схватился за кобуру, потом замер. Шум был настолько неожиданным, что он почти испугался. «Только почти, – подумал Литума, – ведь ты никогда не испытывал и не испытываешь страха, Литума, даже не знаешь, с чем его едят, этот самый страх». Слева от него простирался пустырь, справа – громада первого склада морского вокзала. Оттуда-то и донесся грохот ящиков и бочек, которые, падая, увлекали за собой целую гору других ящиков и бочек. Потом опять все стихло, и только слышались издали рокот моря и свист ветра, ударявшего по крышам и путавшегося в проводах. «Кот погнался за крысой, опрокинул ящик, другой, вот и обвал», – подумал сержант и представил себе несчастного кота, распростертого среди крыс, раздавленного грудой мешков и бочек. Он уже находился в районе, где нес службу Початок Роман. Естественно, Початка на месте не оказалось. Литума прекрасно знал, что полицейский находится на другом конце своего квартала – где-нибудь в *Harry Land*²¹ или *Blue Star*²², в любом другом баре или борделе для моряков в глубине узенькой улочки, которую острые на язык жители называли «Улицей Сифилитиков». Определенно он там, потягивает пиво за деревянной стойкой. Направляясь к притонам, Литума мысленно представил себе выражение ужаса на лице Романа, когда он, Литума, появится у него за спиной: «Так. Употребление спиртных напитков во время несения службы. Конец тебе, Початок...» Он прошел еще метров двести и резко остановился. Повернул голову. Там, во мраке, едва освещенная лампочкой, чудом уцелевшей после полчищ охотников за собаками, с трудом угадывалась стена склада. «Нет, это не кот, – подумал сержант, – и не крыса. Это – вор». Сердце забилося от волнения, и он ощутил, как лоб и руки его вспотели. Да, это вор, вор! Простояв неподвижно несколько секунд, он захотел повернуть назад. Сержант знал себя: подобные порывы обуревали его не раз. Вынув пистолет из кобуры, он снял его с предохранителя и взял в левую руку фонарь. Легкими прыжками прокрался назад, чувствуя, как рвется наружу сердце. Да, так и есть: вор! У склада он, задыхаясь, остановился. Не поискать ли Курносого или Початка? Он покачал головой: нет, ему никто не нужен, хватит – и даже с лихвой – его одного. Если вор не один, тем хуже для них и лучше для него. Он прислушался, прижавшись лицом к деревянной стене, – полная тишина. Только вдалеке слышны море и шум редких автомобилей. «Какой там вор, чтоб его... – подумал сержант. – Померещилось. Кот и крыса». Озноб прошел, теперь он ощущал тепло и усталость. Он обошел склад в поисках двери. Найдя ее, убедился при свете фонаря: замок в полной сохранности. Он собирался было идти, ворча про себя: «Ну и свалил же ты дурака, Литума, не тот уж у тебя нюх, как прежде», – когда машинально осветил стену и в желтоватом свете фонаря перед ним возникло отверстие. Оно было в нескольких метрах от двери, дыру проделали грубо – доски то ли разрубили топором, то ли вышибли ногами. Дыра была достаточно велика, чтобы в нее мог пролезть на четвереньках взрослый человек.

Сержант почувствовал, как сердце его заколотилось словно безумное. Он потушил фонарь, еще раз проверил пистолет – снят ли предохранитель – и осмотрелся: кругом темнота, лишь где-то вдали спичечными огоньками мелькали огни авениды Уаскар. Он вдохнул воздух полной грудью и со всей силой, на которую был способен, проревел:

– Капрал, окружай своими людьми склад! Если кто попытается бежать, стреляй без предупреждения! Живее, ребята! – Для вящей убедительности сержант пробежал сначала в одну, потом в другую сторону, громко топая. Потом он приник к деревянной перегородке и снова заорал во всю мочь: – Эй, вы, сдавайтесь! Вы окружены! Выходите по одному через эту дыру! Даю тридцать секунд на добровольную сдачу!

Он услышал эхо от своих выкриков, затерявшееся в ночи, а потом – снова море и лай собак. Он отсчитал, и даже не тридцать, шестьдесят секунд. «Шута горохового из тебя делают, Литума!» – подумал он, чувствуя, как в нем закипает ярость.

²¹ «Счастливая земля» (англ.).

²² «Голубая звезда» (англ.).

– Открой глаза, ребята! – прокричал он опять. – По первому знаку пали в них, капрал!

И, решительно встав на четвереньки, ловко, несмотря на свои годы и тяжелую форму, полез в дыру. Внутри он быстро выпрямился, на цыпочках отбежал в сторону и прижался спиной к стене. Он ничего не видел, но не хотел зажигать фонарь. Не слышно было ни малейшего шороха, однако в нем крепла уверенность: здесь кто-то сидит, так же как и он, скорчившись в темноте, и прислушивается, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вдруг ему показалось, что он уловил прерывистое дыхание. Сержант держал палец на спусковом крючке, а пистолет – на уровне груди. Сосчитав до трех, он зажег фонарь. Раздавшийся крик застал его врасплох; от неожиданности он выронил фонарь, и тот покатился по полу, освещая ящики, мешки – похоже, с хлопком, – бочки, древесину, и вдруг высветил (мимолетно, неправдоподобно) фигуру негра; голый и скрюченный, тот пытался руками прикрыть лицо и в то же время сквозь щели меж пальцев огромными, испуганными глазами уставился на фонарь, будто единственную опасность для него представлял именно свет.

– Не двигайся, пристрелю! Тихо, не то сдохнешь, черномазый! – прорычал Литума так громко, что у него даже в глотке засвербило. В то же время, присев на корточки, он шарил руками, пытаясь достать фонарь. Потом с величайшим удовлетворением добавил: – Попался, черный! Влип, черномазый!

Он почти оглушил себя собственным голосом. Теперь он добрался до фонаря, и луч света запрыгал в поисках негра. Но тот и не думал бежать: он сидел на месте, и Литума изумился, не поверив тому, что увидел. Нет, это была не игра воображения, не сон. Негр был совершенно гол, в чем мать родила: ни ботинок, ни трусов, ни майки – ничегошеньки на нем не было. Но, видимо, он не испытывал от этого никакого смущения, вроде не сознавая, что гол, потому что даже не прикрыл срам рукой. Негр по-прежнему сидел пригнувшись, половина лица его была закрыта растопыренными пальцами, он не двигался, будто загипнотизированный круглым глазом фонаря, излучавшим свет.

– Руки на затылок, черномазый! – приказал сержант, стоя на месте. – И води себя смирно, если не хочешь заполучить свинец. Ты арестован за попытку вторгнуться в частные владения, а также за прогулки нагишом по столице.

Обратившись в слух – не выдаст ли шорох соучастника, прячущегося в темноте, – сержант в то же время размышлял: «Нет, это не вор. Это идиот». И не только потому, что негр совершенно голый в самый разгар зимы; сержант понял это по крику, который тот издал, будучи обнаруженным. «Нормальный человек так кричать не может», – продолжал рассуждать сержант. Звук был уж очень странный, нечто среднее между воем, мычанием, хохотом и лаем. Он рвался вроде не из горла, а откуда-то из нутра, из сердца, из души.

– Сказано тебе: руки на затылок, сукин сын! – прокричал Литума, делая шаг к человеку.

Тот не послушался – и не шевельнулся. Он был очень черен и худ, даже в темноте сержант различил ребра, обтянутые кожей, и две палки вместо ног; в то же время огромное брюхо буквально свисало ему на ноги, и Литуме вспомнились рахитичные дети в нищих кварталах, с животами, раздутыми от паразитов. Негр сидел все так же тихо, закрыв лицо руками, сержант сделал еще два шага к нему в полной уверенности, что он вот-вот бросится бежать. «Сумасшедшие не боятся пистолетов», – подумал сержант и снова шагнул вперед. Их разделяло лишь несколько метров, только теперь сержант различил шрамы, покрывавшие плечи, руки и спину негра. «Это после “посвящения в мужчины” или в честь ихних дьяволов», – подумал Литума. А может, следы болезни? Ран, ожогов? Он проговорил очень тихо, чтобы не испугать злоумышленника:

– Спокойно, негр. Подними руки на затылок и двигайся к дырке, через которую влез сюда. Будешь вести себя хорошо, напою тебя кофе в участке. Ты, наверное, подыхаешь с голоду, да в такую непогоду и совсем голый.

Он собрался шагнуть поближе к негру, вдруг тот рывком отвел руки от лица и... Литума застыл от ужаса, обнаружив под копной свалевшихся, как войлок, волос вылезшие из орбит, испуганные глаза, страшные шрамы и огромную щель рта, из которой торчал единственный – длинный и острый – зуб. Негр вновь издал непонятный, нечеловеческий вопль, глянул по сторонам; он весь дрожал, дергался, метался, словно животное, ищущее, куда бы укрыться от погони. В конце концов он углядел путь к спасению, но вовсе не тот, какой следовало: этот путь преграждал своим телом сержант Литума. Негр не бросился на сержанта, а просто пытался пробежать сквозь него. Это было так неожиданно, что Литума не успел остановить негра и почувствовал, как тот ударился о его грудь. Но сержант сдержал себя, у него не дернулся палец, и выстрела не последовало. Негр, ударившись, захрипел; Литума дал ему пинка и увидел, как тот валится, будто тряпичная кукла, наземь. Он пнул его еще раз ногой, чтобы негр утихнулся.

– Вставай! – приказал сержант. – Мало того что ты псих, ты еще и болван. Как же от тебя воняет!

От негра несло чем-то неопределенным: мочой, серой, кошками. Он повернулся и, лежа на спине, с ужасом взирал на сержанта.

– Откуда же ты взялся? – пробормотал Литума. Он приблизил фонарь и в полной растерянности стал рассматривать лицо, иссеченное прямыми линиями шрамов – сеть рубцов, протянувшихся по щекам, носу, лбу, подбородку и терявшихся где-то на шее. Как могло разгуливать по улицам Кальяо это страшилище, да еще с неприкрытым срамом, и никто не сообщил ему, Литуме, об этом?

– Поднимайся, или я тебе снова врежу, – пообещал Литума. – Псих ты или нет, мне надоело с тобой возиться.

Странное существо не шевельнулось. Оно опять стало издавать какие-то звуки, урчание, клекот, посвистывание, нечто схожее скорее с языком птиц, насекомых, животных, чем с человеческой речью. С бесконечным ужасом негр по-прежнему глядел на фонарь.

– Вставай, не бойся, – сказал сержант и взял негра за плечо. Тот не сопротивлялся, но и не сделал никакого усилия, чтобы встать на ноги. «Ну и тощий же, – подумал Литума, почти развеселившись от непрерывного мяуканья, воркованья и посвистывания своего пленника. – И как же ты меня боишься!» Он заставил негра подняться и даже не поверил, что человек может так мало весить. Сержант едва толкнул его к двери, и тот, будто пролетев вперед, упал. Но на этот раз он встал сам – с большим трудом, опираясь на бочку с маслом.

– Ты болен? – спросил сержант. – Ты даже идти-то не можешь, черный. Откуда, черт тебя дерит, могло явиться такое пугало, как ты?

Он потянул его к дыре, заставив согнуться, вылезти на улицу, и поставил перед собой. Негр продолжал без единой паузы издавать те же странные звуки, словно во рту у него была железка и он пытался выплюнуть ее. «Да, – подумал сержант, – все-таки это псих». Дождь прекратился, но зато ветер мел улицы, свистел и завывал вокруг с новой силой. Литума, подталкивая негра, чтобы тот поторапливался, направился к участку. Несмотря на плащ, его прохватывал холод.

– Ты, кум, совсем замерз, – проговорил он. – Голый в такой час да в такое время года! Чудо будет, если ты не схватишь воспаления легких.

У негра стучали зубы, он шел, скрестив свои длинные и костлявые руки на груди, иногда потирая ими бока; холод, похоже, сильнее всего обжигал ему бедра. Он все продолжал ворковать, мычать и каркать, но теперь уже себе под нос и поспешно поворачивался туда, куда направлял его сержант. Они не встретили на улице ни автомобилей, ни собак, ни пьяных. Когда они подошли к комиссариату (мягко светящийся огонек в окнах обрадовал Литуму, как берег – тонущего), глухие колокола церкви Божьей Матери Кармен де ла Легуа пробили два часа ночи.

При виде сержанта и голого негра молодой и подтянутый лейтенант Хаиме Конча выронил из рук комиксы об Утенке Дональде (уже четвертая книжонка об этом персонаже, прочитанная им за ночь, не считая еще трех о Супермене и двух о Мандрейке), разинул от удивления рот, едва не вывихнув челюсть. Полицейские Камачо и Аревало, затеявшие партию в шашки, тоже вытаращили глаза.

– Откуда ты приволок такое огородное чучело? – произнес наконец лейтенант.

– Это человек, животное или вещь? – спросил Яблочко Аревало, вставая и пригнувшись к негру. Последний, переступив порог комиссариата, молча вертел головой по сторонам с ужасом на лице, будто впервые в жизни видел электрический свет, пишущие машинки и полицейских. Однако, заметив, что к нему направляется Яблочко, негр вновь издал леденящий душу крик (Литума заметил, что лейтенант Конча от потрясения чуть не свалился на пол вместе со стулом и что Сопливый смешал в этот миг на доске шашки) и опять попытался вырваться на улицу. Сержант удержал негра, тряхнув за плечо: «Спокойно, черномазый, не пугайся».

– Я нашел его в новом складе приморского вокзала, мой лейтенант, – доложил Литума. – Он проник внутрь, вышибив доски. Прикажете составить протокол о грабеже, либо о нарушении закона о частной собственности, либо об антиобщественном поведении, а может, и по всем трем пунктам сразу?

Негр стоял согнувшись, в то время как лейтенант, Камачо и Аревало изучали его с головы до ног.

– Эти шрамы не от оспы, мой лейтенант, – проговорил Яблочко, указывая на следы на лице и теле задержанного. – Они сделаны ножом, хоть это и может показаться невероятным.

– В жизни не видел более тощего парня, – сказал Сопливый, разглядывая ребра голого. – И более уродливого. Господи, что за грива! И что за лапы!

– Удовлетворим наше любопытство, – сказал лейтенант, – Расскажи-ка нам о своей жизни, негритенок.

Сержант Литума снял кепи и расстегнул плащ. Он уже сидел за пишущей машинкой и сочинял протокол. Отсюда и крикнул:

– Он не умеет говорить, мой лейтенант. Он только издает непонятные звуки.

– Ты из тех, что придуриваются? – поинтересовался лейтенант. – Знаешь, мы уже старики, нас не проведешь. Выкладывай, кто ты такой, откуда прибыл, кто твоя мать?

– Или мы вернем тебе речь, дав разок по соплям, – добавил Яблочко. – Запоешь, черномазый, канареечкой!

– Если эти полосы сделаны лезвием, то его резанули не меньше тысячи раз, – удивлялся Сопливый, продолжая разглядывать шрамы, испещрявшие кожу негра. – Как можно так изрисовать человека?

– Он помирает от холода, – сказал Яблочко, – вон зубы щелкают, как мараки у музыканта.

– Коренные, – уточнил Сопливый, изучая негра, будто муравья. – Разве не видишь, что из передних у него всего один зуб, точно бивень у слона. Дьявольщина! Ну и тип! Будто из кошмарного сна.

– Я так полагаю, он рехнулся, – сказал Литума, не отрывая глаз от своей писанины. – Разгуливать в таком виде, да еще по холодине, нормальный человек не станет, верно, мой лейтенант?

В тот же момент какой-то грохот заставил его поднять голову: негра будто током ударило – он толкнул лейтенанта и стрелой метнулся между Камачо и Аревало. Однако он бросился не на улицу, а к столику с шашками, Литума увидел, как он устремился к надкусанному бутерброду, схватил его и проглотил, как животное, единым махом, чуть не подавившись. Когда Аревало и Камачо подбежали к нему и съездили раза два по физиономии, негр жадно приканчивал остатки второго бутерброда.

– Не бейте его, ребята, – сказал сержант. – Лучше дайте ему кофе, проявите милосердие.

– Здесь не благотворительное заведение, – проговорил лейтенант, – черт знает, что мне делать с этим типом.

Он опять устался на негра, который, проглотив бутерброды и безропотно перенеся тычки от Сопливого и Яблочка, теперь смиренно лежал на полу и тихо дышал. В конце концов лейтенант сжалился и проворчал:

– Ладно, дайте ему немного кофе и отправьте в подвал.

Сопливый протянул негру полкружки кофе из термоса. Негр пил медленно, закрыв глаза, а потом до блеска вылизал алюминиевую кружку, чтоб не пропало ни капли напитка. Затем спокойно дал отвести себя в подвал.

Литума перечитал протокол: попытка грабежа, покушение на частную собственность, аморальное поведение. Лейтенант Хаиме Конча вновь уселся на стол, взгляд его что-то искал.

– Знаю, знаю, на кого он похож, – радостно засмеялся он, показывая Литуме ворох разноцветных журнальчиков. – Он похож на негров из историй о Тарзане, на африканских чернокожих!

Камачо и Аревало вернулись к своей партии в шашки, Литума надвинул кепи и застегнул плащ. Выходя из помещения, он услышал вопли карманника, который, проснувшись, отбивался от соседа по подвалу:

– Помогите! На помощь! Он меня изуродует!

– Заткнись, а то мы сами тебя изуродуем, – успокоил его лейтенант. – Дай мне спокойно почитать рассказы.

С улицы Литума увидел, что негр улегся на полу, совершенно равнодушный к крикам жулика, худенького паренька, который никак не мог прийти в себя. «Да, проснуться и увидеть рядом с собой такого бяку!» – посмеялся Литума, вновь раздвигая своей массивной фигурой туман, ветер и темноту. Засунув руки в карманы, подняв воротник и лацканы плаща, нагнув голову, он продолжал не торопясь свой обход. Вначале он побывал на «Улице Сифилитиков», где обнаружил Початка Романа, устроившегося у стойки притона Happy Land и обменивавшегося шутками со Стонушей Голубкой – старым педерастом с крашеными волосами и вставными зубами, который заменял бармена. Сержант отметил в своем докладе: полицейский Роман «употреблял спиртные напитки в служебное время», хотя прекрасно знал, что лейтенант Конча, человек, относившийся с пониманием как к собственным, так и к чужим слабостям, не обратит на его замечание никакого внимания. Потом сержант повернулся спиной к морю и направился по авениде Саэнс-Пенья, мертвой в этот час, точно кладбище. Настоящим чудом было бы найти полицейского Умберто Киспе, который отвечал за рынок. Лавки были закрыты, бродяг было меньше обычного, да и те спали, свернувшись на кипах мешков и газет, под лестницами или грузовиками. После нескольких безуспешных кругов и многочисленных свистков. Литума нашел Киспе на углу улиц Колон и Кочране, где тот помогал таксисту: только что двое уголовников ткнули его по черепу, пытаясь ограбить. Сержант и полицейский отвезли таксиста в пункт «Скорой помощи», чтобы его там привели в чувство. Потом они съели по тарелке супа из рыбных голов на первом открывшемся лотке – он принадлежал донье Гуальберте, торговке свежей рыбой. Патрульная машина подобрала Литуму у авениды Саэнс-Пенья и довезла до Форта Короля Филиппа, у стен которого дежурил Ручонка Родригес, любимчик полицейского комиссариата. Литума застал подчиненного за игрой в классики. В полном одиночестве, в темноте, Родригес, сохраняя серьезное выражение лица, перескакивал из одного класса на другой то на одной ноге, то на обеих. Увидев сержанта, он вытянулся.

– Такие упражнения помогают разогреться, – показал он на линии, выведенные мелом на земле. – А вы не играли в классики, когда были маленьким, мой сержант?

– Нет, я чаще заводил волчок и запускал змеев, – ответил Литума.

Ручонка Родригес рассказал сержанту об инциденте, развеселившем его на дежурстве. Около полуночи он обходил улицу Пас-Сальдан, когда увидел какого-то типа, взбиравшегося

по стене к окну. Полицейский приказал ему остановиться и вытащил пистолет, но мужчина вдруг разревелся и стал клясться, что он вовсе не жулик, а муж своей жены и что она просила его именно так – в темноте и через окно – проникать в дом. «Но почему же не через дверь, как все люди?» – «Потому что жена малость тронутая, – хныкал супруг, – понимаете, если я забираюсь к ней как вор, она бывает такой нежной. А если не сделаю, как она прикажет, даже поцелуя от нее не добьешься, господин полицейский!»

– Просто этот тип понял, что ты еще молокосос, и посмеялся над тобой, – улыбнулся Литума.

– Да нет, святая правда! – настаивал Ручонка. – Я постучал в дверь, мы оба вошли, и сеньора – она негритянка и стерва, видимо, изрядная – заявила, что все это истина и что они с мужем имеют полное право поиграть в жуликов. Чего только не насмотришься на этой службе, верно, мой сержант?!

– Это уж точно, парень, – согласился Литума, подумав о негре.

– С такой бабенкой не соскучишься, мой сержант, – облизнулся Ручонка.

Он проводил Литуму до авениды Буэнос-Айрес, где они и распрощались. Пока сержант шел к границе с районом Бельявиста – по улице Вихиль, потом по площади Гвардии Кальяо, и здесь сержанта обычно одолевала усталость и сонливость, – он все думал о негре. Может быть, тот удрал из сумасшедшего дома? Но этот дом находился так далеко, что уж наверняка какой-нибудь полицейский или патруль обнаружил и арестовал бы негра. А эти шрамы? Нанесены они ножом? Скотство. Вот уж, наверное, боль дикая, все равно что пытка медленным огнем. Рана за раной до тех пор, пока все лицо не покроют шрамы, черт побери! А если он так и родился?

Стояла еще глубокая ночь, но уже чувствовалось приближение рассвета: появились автомобили, один за другим катили грузовики, спешили забулдыги-полуночники. Сержант все размышлял: «Стольких на своем веку типов повидал и почему меня так занимает этот голозастый?» Но тут же пожал плечами: «Простое любопытство, заняты мозги, пока длится обход». Он скоро обнаружил Сарате, полицейского, служившего вместе с ним еще в Айякучо²³. Сержант получил от него уже подписанный протокол: одна драка, раненых нет, ничего существенного. Литума рассказал ему про негра, но на Сарате произвела впечатление лишь история с бутербродами. Полицейский был заядлым филателистом и несколько кварталов – пока проводил сержанта – рассказывал ему, что этим утром приобрел треугольные марки Абиссинии с изображением львов и змей в красном, синем и зеленом тонах, что марки эти – редкостные и что выменял их на пять аргентинских, которые ничего не стоят.

– Но их можно выдать за дорогие, – прервал его Литума.

Страсть Сарате – в других случаях Литума относился к ней с чувством юмора – сегодня раздражала сержанта, и он обрадовался, когда им пришлось расстаться.

В небе уже проступала синева, из сумрака возникали сероватые, прозрачные, перенаселенные дома Кальяо. Литума ускорил шаг, считая кварталы, оставшиеся до комиссариата. На этот раз он признался себе, что торопливость эта объяснялась не столько усталостью после долгого ночного обхода, сколько желанием еще раз увидеть негра. «Будто все это – сон и ты сам не веришь, что эта ящерица существует на самом деле, Литума».

Но негр существовал: он был на месте. Свернувшись в клубок, спал на полу подвала. Жулик-карманник уснул в другом углу, и его лицо все еще сохраняло испуганное выражение. Все остальные тоже спали: лейтенант Конча уткнулся головой в кипу своих комиксов, Камачо и Аревало прижались друг к другу плечами на скамье у входа. Литума долго смотрел на негра, на его торчащие кости, спутанные волосы, огромный рот, сиротливый зуб, тысячи покрывавших его шрамов, следил за дрожью, которая пробежала по телу спящего. И думал: «Откуда же

²³ Главный город одноименного департамента в Перу.

ты взялся, черный?» Наконец он протянул свой отчет лейтенанту, тот открыл покрасневшие глаза.

– Кончается на сегодня эта канитель, сержант, – произнес он сонным голосом. – На день меньше службы, Литума.

«И жизни тоже», – подумал сержант и попрощался, громко щелкнув каблуками. Было шесть утра, он был свободен. Как всегда, завернул на рынок к донье Гуальберте выпить кипящего бульона, съесть пару пирожков с картофелем, фасоли с рисом, молочного киселя. После этого он отправился в свою комнатку на улице Колон. Он не мог заснуть довольно долго, а как только заснул, ему тотчас приснился негр. Кругом змеи и львы, красные, зеленые, синие – в сердце Абиссинии, – негр в цилиндре, высоких сапогах и с хлыстиком укротителя в руках. Звери танцевали, повинаясь взмахам его палочки, а толпа, размещившаяся на лианах, между стволами и на ветвях деревьев, где весело свистели птицы и кричали обезьяны, бурно аплодировала укротителю. Но вместо того чтобы кланяться зрителям, негр встал на колени и умоляюще протянул руки, глаза его были полны слез, огромная щель рта открылась, и оттуда вырвались звуки, горькие, яростные, путанные, как головоломка, как никому не понятная музыка.

Литума проснулся часам к трем дня в очень плохом настроении и усталый, хоть и проспал семь часов. «Наверное, его уже увезли в Лиму», – подумал он. Пока он брызгал, как кот, себе водицы в лицо и одевался, ему представлялся путь негра: скорее всего, черного забрал патруль в девять утра, ему дали тряпье прикрыться, потом отвезли в префектуру, здесь на него завели дело и отправили в подвал предварительного заключения, где он сидит сейчас – в темной норе, среди бродяг, жуликов, скандалистов и драчунов, собранных за последние двадцать четыре часа, – дрожа от холода, умирая с голоду, ловя вшей.

День стоял серый и влажный, люди двигались в тумане, будто рыбы в мутной воде. Литума, задумавшись, медленно шел обедать, снова к донье Гуальберте; две булки с крестьянским сыром и чашка кофе.

– Странный ты сегодня, Литума, – сказала ему сеньора Гуальберта; старушка хорошо разбиралась в людях. – Денежные затруднения или любовные?

– Я все думаю об одном типе, которого нашел вчера, – ответил сержант, пробуя кофе кончиком языка. – Залез в склад на морском вокзале.

– Что же в этом странного? – спросила донья Гуальберта.

– Он был совсем голый, все тело – в шрамах, грива – как колючие заросли, и не умеет говорить, – объяснил ей Литума. – Откуда может явиться такой человек?

– Из ада, – засмеялась старуха, получая от него деньги.

Литума отправился на площадь Грау встретиться со старшиной Педральбесом. Они познакомились много лет назад, когда сержант был еще простым полицейским, а Педральбес – простым матросом, оба служили в Писко. Потом их судьбы почти на десять лет разошлись, но два года назад вновь пересеклись. Свободные дни они проводили вместе, и Литума чувствовал себя в семье Педральбеса как дома. Друзья отправились в Ла-Пунту, в клуб старшин и матросов, выпить пива и сыграть на бильярде.

Первым делом сержант рассказал старшине историю про негра. Педральбес немедленно нашел ей объяснение:

– Так это же африканский дикарь, который «зайцем» приплыл сюда на корабле. Весь путь прятался, а прибыв в Кальяо, нырнул ночью в воду и незаконно проник на территорию Перу.

Литуме показалось, что засияло солнце: все вдруг стало на свои места.

– Ты прав, это точно, – сказал он, прищелкнув языком и хлопнув в ладоши. – Точно! Он приехал из Африки. Ну ясно же! А здесь, в Кальяо, его высадили, видимо, чтобы не платить ему за работу, а может быть, его в трюме обнаружили и, чтобы освободиться от него...

– Его не передали властям, так как понимали, что власти не захотят такого принять, – развивал свою мысль Педральбес. – Его высадили силой – мол, сам выходи из положения, дикарь.

– Этот голозадый даже не знает, где находится, – сказал Литума. – Если его крики – крики не психа, а дикаря, так орут дикари.

– В общем, такая же история, как если бы ты, братец, сел в самолет, а тебя высадили бы на Марсе, – рассмеялся Педральбес.

– Умные мы, – заметил Литума. – Представили всю жизнь этого зверя.

– Скажи лучше, это я умник, – возразил Педральбес. – Но что же с ним сделают, с негром? Литума подумал: «Кто его знает?»

Они сыграли шесть партий на бильярде, четыре выиграл сержант, так что за пиво платил Педральбес. Потом направились на улицу Чанчамайю, где в доме с зарешеченными окнами жил Педральбес. Домитила, его жена, как раз кончила кормить своих троих ребят. Увидев мужчин, она сунула в постель самого маленького, двум другим приказала не высовывать носа за дверь, затем чуть прибрала волосы, взяла мужчин под руки, и они пошли.

В кинотеатре «Портеньо» на авениде Саэнс-Пенья они посмотрели итальянский фильм. Литуме и Педральбесу он не понравился, но Домитила сказала, что еще раз сходит на эту картину. Потом прошлись пешком до улицы Чанчамайю, дети уже заснули, и Домитила подала мужчинам подогретые ольюкитос²⁴ с куском вяленого мяса. Литума простился в десять тридцать вечера. Он пришел в четвертый комиссариат к началу дежурства: ровно в одиннадцать часов.

Лейтенант Хаиме Конча не дал Литуме даже отдышаться, отозвал в сторону и одним духом выпалил инструкцию; от его по-спартански коротких фраз у Литумы закружилась голова и зашумело в ушах.

– Начальство знает, что делает, – пытался поднять его настроение лейтенант, похлопывая сержанта по спине. – И имеет на то свои основания, что и следует принять к сведению. Начальство никогда не ошибается, не так ли, Литума?

– Конечно, так, – пробормотал сержант.

Яблочко и Сопливый делали вид, что они страшно заняты. Уголком глаза Литума видел, как один вглядывался в квитанции штрафов нарушителей уличного движения, как будто то были фотографии голых девиц, а второй открывал, закрывал и вновь открывал свой письменный стол.

– Можно задать вопрос, мой лейтенант? – произнес Литума.

– Можно, – ответил лейтенант. – Вот только не знаю, смогу ли я на него ответить.

– Почему начальство выбрало именно меня для этой работы?

– На это я тебе отвечу, – сказал Хаиме Конча. – По двум причинам. Потому что ты его поймал, и справедливо будет, если шутку закончит тот, кто ее начал. А во-вторых, потому, что ты – лучший полицейский всего этого комиссариата, а может быть, и всего Кальяо.

– Сколько чести, – буркнул Литума, ничуть не обрадованный этим сообщением.

– Начальство прекрасно знает, что речь идет о трудном поручении, и поэтому доверяет тебе, – продолжил лейтенант. – Следовало бы гордиться, что именно тебя выбрали из сотен полицейских Лимы.

– Ах вот как! Значит, мне их еще и благодарить! – изумленно покачал головой Литума. Он подумал с минуту и очень тихо добавил: – Это следует сделать немедленно, мой лейтенант?

– Скорее скорого! – ответил тот, стараясь казаться молодцом. – Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.

²⁴ Корнеплод, родственник картофеля.

«Теперь понятно, почему у меня из головы не шла физиономия этого негра», – подумал Литума.

– Хочешь захватить с собой одного из них, чтобы тебе полегче было? – услышал он голос лейтенанта.

Литума, даже не глядя, почувствовал, что Камачо и Аревало застыли, как окаменевшие. Ледяное молчание воцарилось в помещении комиссариата, пока сержант с нарочитой медлительностью – пусть помучаются – разглядывал обоих полицейских. Яблочко застыл с кипой бумаг в дрожащих руках, Сопливый наклонился над столом.

– Его, – сказал Литума, указывая на Аревало. Он услышал, как Камачо глубоко вздохнул, увидел вспыхнувшую в глазах Яблочка вселенскую ненависть и сразу понял, что тот матерно облобил его.

– Я простужен и как раз хотел просить, мой лейтенант, разрешения сегодня ночью не выходить на улицу, – промямлил Аревало, скорчив идиотскую мину.

– Хватит тебе, как девке, выкручиваться. Застегивай плащ, – прервал его Литума, проходя мимо и не глядя на полицейского. – Пошли.

Сержант спустился в подвал и открыл дверь. Впервые за этот день он увидел негра. На него надели рваные штаны, которые едва доходили до колен, грудь и спину прикрывал мешок с проделанным для головы отверстием, он был совершенно спокоен и посмотрел Литуме в глаза – без радости и без страха. Негр сидел на полу и что-то жевал, на руках вместо наручников болталась веревка, достаточно длинная, чтобы узник мог почесаться или поесть. Сержант сделал ему знак встать, но, по всей видимости, негр его не понял. Тогда Литума подошел к нему, взял за руку, и человек покорно встал. Он пошел впереди сержанта с тем же безразличием, с каким встретил его. Яблочко Аревало уже стоял в плаще, с замотанным вокруг шеи шарфом. Лейтенант Конча даже не повернулся и не посмотрел, как они вышли: он уткнулся лицом в комикс о приключениях Утенка Дональда («А сам держит журнал вверх ногами», – отметил Литума), Камачо же, напротив, сочувственно им улыбнулся.

На улице сержант пошел по краю тротуара, а вдоль стены – Аревало; негр шел между ними тем же шагом, что и они, пожевывая что-то, ничем не интересуясь.

– Вот уже два часа, как он мусолит этот хлеб, – сказал Аревало. – Сегодня вечером, когда его вернули из Лимы, мы отдали ему все остатки хлеба, они уже в камень превратились. И он все съел. Все смолот, как мельница. Наверное, жутко голоден, а?

«Прежде всего долг, эмоции потом», – думал Литума. Он стал высчитывать: «Сначала пойдем по улице Карлоса Кончи до авениды Контр-адмирала Моры, потом спуск по авениде до реки Римака, затем берегом реки до моря». Да, подсчитал сержант, три четверти часа туда и обратно, скорее всего – час.

– Это вы во всем виноваты, мой сержант, – ворчал Аревало. – Кто вам велел хватать его? Надо было отпустить этого типа, когда вы поняли, что он не вор. Вот видите, в какую историю всех нас втянули. И главное, ответьте мне: вы тоже считаете, как и наше начальство, что этот тип проник к нам, спрятавшись на судне?

– Именно это и пришло в голову Педральбесу, – сказал Литума. – Возможно, оно и так. Потому что если это не так, то каким образом, черт побери, можно объяснить, что этот разукрашенный тип с его гривой, шрамами, с голым задом и несущий сплошную тарабарщину вдруг в один прекрасный день объявляется в порту Кальяо?! Наверно, он правильно говорит.

В темноте улицы грохотали две пары полицейских сапог, босые ноги негра не производили никакого шума.

– Если бы от меня зависело, я подержал бы его в тюрьме, – снова заговорил Аревало. – Потому что дикарь из Африки не виноват в том, что он – дикарь из Африки, не так ли, мой сержант?

– Вот в силу этого он и не может сидеть в тюрьме, – проворчал Литума. – Ты же слышал лейтенанта: тюрьма для воров, убийц, насильников. За чей счет государство будет содержать в тюрьме это существо?

– Тогда негра следовало бы отправить обратно, в его страну, – огрызнулся Аревало.

– А каким образом, сукин сын, ты узнаешь, где его страна? – повысил голос Литума. – Ты же слышал лейтенанта. Начальство пыталось объясниться с ним на всех языках: и на английском, и на французском, даже на итальянском. Он не говорит ни на одном, он дикарь.

– Значит, вам кажется вполне справедливым, что мы должны ему вклеить пулю только за то, что он дикарь? – вновь огрызнулся Аревало.

– Я не говорю тебе, что мне это кажется справедливым, – пробормотал Литума. – Я тебе повторяю приказ лейтенанта, а ему приказало начальство. Не будь идиотом.

Они ступили на авениду Контр-адмирала Моры в момент, когда колокола на церкви Божьей Матери Кармен де ла Легуа пробили полночь, и звон их внушил Литуме страх. Он шел, старательно глядя перед собой, но иногда помимо воли поворачивал голову влево и бросал взгляд на негра. Он видел его лишь одно мгновение, когда они пересекали освещенный круг под фонарем. Негр был все тот же: сосредоточенно двигая челюстями, шел шаг в шаг с полицейскими, не проявляя ни малейшего страха. «Единственное, что для него имеет значение – это пища», – подумал Литума. И через минуту: «Приговоренный к смерти не знает, что приговорен». И тут же: «Без сомнения, он – дикарь». В этот момент он услышал голос Яблочка.

– В конце концов, почему начальство не отпустит его куда глаза глядят, пусть устраивается как может, – ворчал полицейский, совершенно пав духом. – Пусть будет еще один бродяга, их и так много в Лиме. Одним больше, одним меньше – какая разница?

– Ты же слышал лейтенанта, – опять возразил Литума. – Полицейские не могут допустить нарушения закона. А если ты бросишь негра на площади, ему ничего иного не останется, как воровать. Или подохнуть как собаке. Так что, если подумать, мы ему даже милость оказываем. Выстрел – секунда. Это лучше, чем медленно умирать от голода, холода, от одиночества и тоски.

Однако Литума чувствовал: голос его звучит не очень убедительно, ему даже казалось, будто он слышит другого человека.

– Как бы то ни было, вот что я хочу сказать вам, мой сержант, – услышал Литума жалобный голос Яблочка. – Вся эта канитель мне не нравится, и плохую услугу вы мне оказали, выбрав на это дело.

– Ты думаешь, мне это нравится? – огрызнулся сержант. – А мне начальство не оказало плохую услугу, назначив исполнителем?

Они прошли мимо морского арсенала, откуда послышался звук сирены, а когда пересекали пустырь около высохшего канала, на них вдруг залаяла собака, выскочившая из темноты. Все шли в полном молчании, так что слышно было, как топали сапоги по тропинке, как плескалось совсем рядом море, ощущали влажный и соленый воздух.

– Здесь в прошлом году стояли цыгане, – вдруг проговорил упавшим голосом Яблочко. – Они поставили шатры, показывали всякие фокусы, предсказывали судьбу, заклинали. Но алькальд заставил нас выгнать цыган, потому как у них не было разрешения от муниципалитета.

Литума не ответил. Он вдруг ощутил жалость, и не только к негру, но и к Яблочку, и к цыганам.

– И мы бросим негра прямо здесь, на песке, чтобы его клевали коршуны! – почти стонал Яблочко.

– Мы оставим тело на свалке, утром его обнаружат мусорщики, они приезжают сюда на грузовиках, отвезут его в морг и подарят медицинскому факультету, чтобы его резали студенты, – разъярился Литума. – Ты же хорошо слышал инструкцию, Аревало, и не заставляй меня повторять десять раз!

– Инструкцию-то я слышал, но никак понять не могу... Как же так? Мы должны спокойно прикончить этого типа? – сказал несколько минут спустя Яблочко. – И вы тоже этого не можете представить, хотя и пытаетесь. По голосу вашему слышу, что вы не согласны с приказом.

– Наш долг не соглашаться с приказами, а выполнять их, – мрачно ответил сержант. И после паузы добавил совсем тихо: – Ты прав. Я тоже не согласен. Я подчиняюсь потому, что надо подчиняться.

В этот момент асфальт кончился, оборвался тротуар с фонарями, они ступили во мрак и пошли по мягкой земле. Их охватила вязкая, почти густая ночь. Они шли по свалке, вдоль берега реки Римака, рядом с морем, по полосе земли, очерченной песчаным пляжем, руслом реки и улицей, по которой в шесть утра спускались грузовики с мусором из кварталов Белья-виста, Перла и Кальяо и где уже в этот час копошилась куча детей, мужчин, стариков и женщин, разгребавших груды отбросов в поисках чего-нибудь съедобного и вступавших в драку с чайками, стервятниками и бродячими собаками из-за остатков съестного, выуженных из грязи. Они были уже совсем близко от этой отвратительной пустоши, на дороге к Вентанилье, потом свернули к Анкону, где находились фабрики по производству рыбной муки.

– Вот самое подходящее место, – сказал Литума. – Здесь проезжают грузовики мусорщиков.

Море с силой ударяло о берег. Яблочко остановился, и негр остановился тоже. Полицейские зажгли фонарики и в дрожащем свете уставились в лицо, исполосованное шрамами, все так же безмятежно продолжавшее двигать челюстями.

– Самое ужасное, что у него нет соображения; он даже не догадывается, о чем идет речь, – пробормотал Литума. – Другой бы уже все понял, испугался, пытался бы удрать. Меня просто убивают его спокойствие и доверие к нам.

– Знаете, что мне пришло в голову, мой сержант. – Аревало лязгал зубами так, будто замерзал. – Давайте отпустим его. Пускай удирает. Скажем, что мы его застрелили, в общем, придумаем что-нибудь, чтоб объяснить исчезновение трупа...

Литума же, вытащив пистолет, снимал его с предохранителя.

– И ты осмеливаешься предлагать мне неподчинение приказу вышестоящего начальства да еще врать ему? – послышался дрогнувший голос сержанта. Его правая рука приставила дуло пистолета к виску негра.

Но прошло две, три, пять секунд, а он не стрелял. Сделает ли он это? Подчинится ли приказу? Прогремит ли выстрел? Покатится ли по мусорной свалке труп таинственного пришельца? Или ему будет дарована жизнь, и он исчезнет – слепой и дикий – где-то на заброшенных пляжах, а безукоризненный сержант останется на этом месте, среди зловония, плеска волн, растерянный и угнетенный тем, что не выполнил свой долг? Каков будет финал этой трагедии в Кальяо?

V

Приезд Лучо Гатики в Лиму был отмечен Паскуалем в наших сводках как «крупнейшее событие художественной жизни», как «большая заслуга национального радио». Для меня же он означал неудачу с рассказом, испорченные галстук и рубашки, последние были почти новыми, и потом – я снова обманул тетушку Хулию. До приезда чилийского исполнителя болеро я встречал в газетах россыпи фотоснимков и хвалебных статей о нем («Неоплаченная реклама – самая действенная», – говаривал Хенаро-сын), но масштабы славы певца я осознал лишь после того, как увидел на улице Белен длинную очередь женщин, жаждавших купить билет на его концерты в студии радиостанции. Зал здесь был весьма невелик – не более сотни мест, поэтому побывать на выступлении могли лишь немногие. Вечером накануне концерта толпа у дверей «Панамерикана» была так велика, что нам с Паскуалем пришлось добираться до своей верхоутуры через соседнее здание, объединенное с нашим общей крышей. Мы подготовили радиосводку к семи вечера, но спустить материал на второй этаж не было никакой возможности.

– Женщины забили всю лестницу, двери и подъемник, – сообщил мне Паскуаль. – Пытался прорваться, но они посчитали, что я безбилетник.

Я позвонил по телефону Хенаро-сыну, который буквально искрился от счастья:

– Еще час до начала выступления Лучо, а народ уже парализовал движение по всей улице Белен. Вся страна настраивается на волны «Радио Панамерикана».

Я спросил его, не следует ли пожертвовать радиосводками на семь и восемь вечера из-за того, что происходит сейчас, но Хенаро-сын всегда умел выходить из положения: он предложил нам продиктовать сводки по телефону непосредственно дикторам. Так мы и сделали; в перерывах Паскуаль, совсем разомлевший, слушал по радио голос Лучо Гатики, а я перечитывал четвертый вариант своего рассказа о сенаторе-евнухе – рассказа, которому наконец придумал название из «литературы ужаса»: «Изуродованный лик». Ровно в девять вечера мы прослушали конец программы, голос Мартинеса Моросини, прощавшегося с Лучо Гатикой, и овации зрителей – на этот раз настоящие, а не с магнитной ленты. Через десять секунд зазвонил телефон, и я услышал встревоженный голос Хенаро-сына:

– Спускайтесь, если сможете! Дело пахнет жареным!

Великим достижением было пробить стену из столпившихся у лестницы женщин, которых у входа в зал сдерживала массивная фигура швейцара Хесусито. Паскуаль орал: «Скорая помощь»! «Скорая помощь»! Где здесь раненый?!» Женщины – в большинстве своем совсем молоденькие – смотрели на нас с полным безразличием или улыбались, но никуда не двигались, так что приходилось применять силу. В студии мы увидели ошарашивающее зрелище: прославленный артист призывал на помощь полицию. Лучо Гатика оказался низенького роста, с мертвенно-бледным лицом. Он скрежетал зубами от ненависти к своим поклонницам. Наш прогрессивный импресарио пытался успокоить певца, говорил, что приезд полиции может произвести очень невыгодное впечатление, что бесчисленный рой девиц – свидетельство почитания его таланта, но знаменитость не хотел слушать никаких увещаний.

– Я их знаю, – говорил он, испуганный и злой. – Они сперва просят автограф, а под конец кусаются и щиплются.

Мы посмеялись, но действительность подтвердила прогнозы артиста. Хенаро-сын решил переждать еще полчаса, считая, что поклонницы устанут ждать и удалятся. В десять с четвертью (на это время я договорился с тетушкой Хулией отправиться в кино) мы сами устали ждать, пока почитательницы обессилеют, и решили выйти. Хенаро-сын, Паскуаль, Хесусито, Мартинес Моросини и я, взявшись за руки, образовали круг, в центр которого поместили знаменитость, чья бледность стала почти меловой, едва мы приоткрыли дверь. Первые ступеньки лестницы мы смогли одолеть без особых потерь, пробиваясь сквозь море поклонниц локтями,

коленками, головой, плечами. «Море» в это время ограничивалось аплодисментами, вздохами, прикосновением к своему любимцу, который, хотя и без кровинки в лице, улыбался и бормотал сквозь зубы: «Пожалуйста, друзья, только не расцепляйте руки!» Но вскоре нам пришлось отражать форменные атаки. Нас хватали за одежду, толкали, с воплями тянули к нам руки, чтобы оторвать кусочек рубашки или костюма с плеча своего идола. Через десять минут борьбы, задыхаясь, мы добрались до коридора к выходу, и я уже подумал, что мы спаслись, но здесь-то и началось главное. Несчастного исполнителя болеро вырвали у нас из рук, и поклонницы стали буквально рвать его на части. Правда, растерзать его окончательно им не удалось, но когда мы засунули кумира в автомобиль Хенаро-отца, ожидавшего нас за рулем уже полтора часа, сам Лучо Гатика и его железная гвардия выглядели как чудом уцелевшие жертвы катастрофы. С меня сорвали галстук и в клочья разодрали рубашку, у Хесусито была порвана livрея и похищена форменная фуражка, у Хенаро-сына на лбу красовался синяк от удара дамской сумочкой. Звезда болеро остался жив, но от всей его одежды уцелели лишь туфли и трусы. На следующий день, когда мы пили традиционный кофе в десять утра в «Бранса», я рассказал Педро Камачо о подвигах поклонниц Гатики. Они нимало не удивили его.

– Мой юный друг, – сказал он философски, как бы созерцая издаലെка меня. – Музыка тоже трогает душу толпы.

Пока я защищал физическую целостность Лучо Гатики, сеньора Аградесиды, производя уборку в нашей будке, выкинула вместе с мусором четвертый вариант моего рассказа о сенаторе. Но вместо горечи я почувствовал облегчение и решил, что это перст судьбы. Когда я сообщил Хавьеру, что больше не буду работать над своим произведением, тот, не пытаясь отговорить меня от такого шага, поздравил с принятым решением.

Тетушка Хулия очень веселилась, услышав о моих подвигах в качестве телохранителя. Мы встречались почти ежедневно после ночи с мимолетными поцелуями в ресторане «Боливар». На следующий день после юбилея дяди Лучо я совершенно неожиданно явился к ним домой, на мое счастье, тетушка Хулия была одна.

– Они поехали навестить свою тетушку Ортенсию, – сказала она, проводя меня в гостиную. – Я не поехала, так как мне известно, что эта сплетница всю жизнь занимается тем, что придумывает про меня всякие небылицы.

Я обнял ее за талию, привлек к себе, попытался поцеловать. Она не оттолкнула меня, но и не поцеловала; я ощутил холод ее губ. Отстраняясь, я увидел, что она смотрит на меня без тени улыбки. И не с удивлением, как накануне, а скорее с любопытством и чуть-чуть с насмешкой.

– Вот что, Марито. – Голос ее звучал приветливо и спокойно. – Я совершала в своей жизни самые невероятные безумства. Но такого не совершу. – Она засмеялась. – Я – растлительница малолетних? Нет, увольте, этому не бывать!

Мы сели и поболтали почти два часа. Я рассказал ей всю свою жизнь – нет, не прошедшую, а ту, что ждет меня впереди, когда я перееду в Париж и стану писателем. Я поведал ей, что мне захотелось писать после того, как впервые прочел Александра Дюма, и с той поры я мечтаю отправиться во Францию, жить в настоящей мансарде, в квартале художников и артистов, полностью посвятив себя литературе, прекраснейшему занятию в мире.

Я рассказал ей далее, что изучал право лишь для того, чтобы сделать приятное своему семейству, потому что адвокатура, по моему мнению, является самой никчемной и глупой профессией и я никогда не буду заниматься ею. Внезапно я обнаружил, что говорю с необыкновенной пылкостью, и объявил, что впервые в жизни свою интимную тайну поверяю не другу, а женщине.

– Я напоминаю тебе твою маму, потому-то тебя и тянет исповедаться передо мною, – подвергла меня психоанализу тетушка Хулия. – Так, значит, из сына Дориты получился поклонник богемы? Ай-ай-ай! Ну и дела. Но ведь самое ужасное, сынок, что ты при такой жизни умрешь с голоду.

Она рассказала мне, что накануне ночью совсем не спала и размышляла о моих робких поцелуях в ресторане «Боливар». Сын Дориты, мальчишка, которого она только вчера вместе с его матерью провожала в Кочабамбу²⁵, в колледж Ла-Салль; соплячок, которого она видела еще в коротеньких штанишках; паж, которому она разрешала сопровождать ее в кино, чтобы не ходить одной, вдруг ни с того ни с сего целует ее в губы как самый настоящий мужчина! Все это никак не укладывалось у нее в голове.

– Да, я – самый настоящий мужчина, – заверял я, взяв ее руку и целуя пальцы. – Мне восемнадцать лет. И вот уже пять лет как я утратил невинность.

– А что же тогда говорить обо мне – мне уже тридцать два, и свою девственность я потеряла пятнадцать лет назад! – смеялась тетушка Хулия. – Значит, я – совсем старая развалина?!

Она смеялась громко, чуть хрипло, но весело и откровенно, широко открывая крупный рот с пухлыми губами и щуря глаза. На меня она смотрела с иронией и лукавством, все еще не как на настоящего мужчину, но уже и не так, как смотрят на сопляков. Хулия поднялась налить мне виски.

– После дерзости, которую ты позволил себе позавчера, я уже не предлагаю тебе кока-колу, – сказала она опечаленно. – Теперь я вынуждена обращаться с тобой как с одним из своих поклонников.

Я ответил ей, что разница в возрасте не так страшна.

– Не так страшна – это верно, – возразила она мне. – Но почти такова, что ты мог быть моим сыном.

Она поведала мне историю своего замужества. В первые годы все шло прекрасно. Ее супруг владел имением в предгорьях, и она настолько привыкла к сельской местности, что редко выезжала в Ла-Пас. Господский дом был очень удобным, она наслаждалась тишиной, здоровой, простой жизнью: много ездила верхом, совершала прогулки, ходила на праздники к индейцам. Тучи начали собираться, когда стало очевидным, что она не может иметь детей: супруг страдал от мысли, что у него не будет наследников. Потом он стал пить, и брак их покатился по наклонной плоскости склок, раздоров, примирений, пока не наступил крах. После развода они остались добрыми друзьями.

– Если я когда-нибудь и женюсь, то не буду заводить детей, – сообщил я ей. – Дети и литература несовместимы.

– Хочешь сказать, что я уже могу подать заявление и занять очередь в хвосте твоих поклонниц? – кокетливо спросила тетушка Хулия.

Ее речь отличалась легкостью и остроумием, соленые анекдоты она рассказывала совершенно непринужденно и была (как и все женщины, которых я знал до той поры) фантастически невежественна в литературе. Создавалось впечатление, будто в долгие свободные часы своей жизни в боливийском имении она читала преимущественно аргентинские журналы да еще, видимо, два-три романа, которые сочла достойными запоминания. Прощаясь с ней в тот вечер, я спросил, можем ли мы вместе посмотреть кинофильмы, и она ответила: это можно. С тех пор почти ежедневно мы стали ходить в кино на вечерние сеансы; мне пришлось перетерпеть множество мексиканских и аргентинских мелодрам, но зато мы обменялись и множеством поцелуев. Мы выбирали самые отдаленные от дома кинотеатры: «Монте-Карло», «Колина», «Марсано», – чтобы проводить как можно больше времени вместе. После сеанса мы долго бродили, она научила меня «ходить пирожком» (оказывается, гулять под руку в Боливии называется «ходить пирожком»). Мы блуждали по пустынным улицам Мирафлореса (каждый раз при появлении автомашины или прохожего мы отстранялись друг от друга) и говорили обо всем на свете, а в это время нас поливал тихий дождик (стояло то мерзкое время года, которое в Лиме называют зимой). По-прежнему тетушка Хулия днем ходила обедать или пить чай со

²⁵ Город в Боливии.

своими многочисленными кавалерами, а для меня оставляла вечер. Мы действительно шли в кинотеатр, но здесь выбирали самые последние ряды партера, где (особенно если фильм был плох) могли целоваться, не мешая другим зрителям и не опасаясь быть узванными. Очень скоро наши отношения превратились в нечто неопределенное, замерев на каком-то неуволном отрезке между столь противоположными категориями, как влюбленные и любовники. Это и было постоянной темой наших разговоров. Как у любовников, у нас была своя тайна, страх перед разоблачением, ощущение опасности, но любовниками мы были платоническими, ибо любовью не занимались (как же впоследствии удивился Хавьер, узнав, что мы даже не обнимались!). От влюбленных мы унаследовали уважение к классическим ритуалам молодых возлюбленных района Мирафлорес тех времен (хождение в кино, поцелуи во время сеанса, прогулки под руку по улицам), а также непогрешимое поведение (в те доисторические времена девушки этого района приходили к алтарю целомудренными и позволяли прикоснуться к себе лишь после того, как возлюбленный был официально возведен в ранг жениха). Но какими возлюбленными могли быть мы при нашей разнице в возрасте и с нашими родственными связями? Из-за того что наш роман был таким двусмысленным и необычным, мы шутя называли его то «жениховство по-английски», то «роман по-шведски», то «драма по-турецки».

– Любовь между ребеночком и старушкой, а она, кроме всего прочего, еще в некотором роде и его тетя, – однажды сказала мне тетушка Хулия, когда мы пересекали Центральный парк. – Прекрасная тема для радиодрамы Педро Камачо.

Я напомнил ей, что она лишь официально считается моей теткой. На это она мне сказала, что в радиопостановке, прослушанной ею в три часа пополудни, говорилось, как некий парень из района Сан-Исидро, красавец и прекрасный спортсмен-серфист, был в близких отношениях не с кем иным, как с собственной сестрой, которая к тому же – о ужас! – от него забеременела.

– С каких пор ты слушаешь радиопостановки? – спросил я ее.

– Я заразилась от своей сестрицы, – ответила она. – Радииодрамы «Радио Сентраль» действительно великолепны: не драмы, а драмищи, так и рвут душу на части!

Тетушка Хулия покаялась мне, что нередко она и тетя Ольга рыдали, слушая эти передачи. То было первое свидетельство о впечатлении, которое произвело перо Педро Камачо на семьи жителей Лимы. Вскоре в домах моих родственников я имел возможность собрать и другие свидетельства. Я приходил к тете Лауре, но, увидев меня на пороге, она подносила палец к губам, а сама продолжала сидеть, прижавшись к радиоприемнику, как бы для того, чтобы не только слышать, но и вдыхать, осязать (то дрожащий, то сдержанный, то горячий, то нежный) голос боливийского артиста. Я приходил к тетке Габи и заставлял ее и тетю Ортенсию с забытым клубком ниток в руках: обе внимательно следили за насыщенными модуляциями и изобилующим деепричастиями диалог между Лусиано Пандо и Хосефиной Санчес.

Мои собственные дедушка и бабушка всегда имели «склонность к романчикам», как выражалась бабушка Кармен; теперь же ими овладела подлинная страсть к радиопостановкам. Я просыпался по утрам с позывными «Радио Сентраль»: это старики уже готовились прослушать первую из подобных передач – она транслировалась в десять часов утра. Я обедал, слушая постановку в два часа дня; когда бы я ни возвращался домой, я заставлял в креслах маленького зальчика стариков и кухарку, замороженных тем, что исходило из недр приемника, огромного и тяжелого, как комод, к тому же они включали его на полную мощность.

– Почему тебе так нравятся эти радиодрамы? – спросил я однажды бабушку. – Что в них такого, чего нет в книгах?

– Они совсем как живые. Когда слушаешь героев, они кажутся настоящими, – объяснила она мне после некоторого раздумья. – И кроме того, в моем возрасте лучше служат уши, чем глаза.

Я пытался провести такие же исследования в домах других родственников, но результаты были неопределенными. Тетушкам Габи, Лауре, Ольге и Ортенсии радиопостановки нра-

вились потому, что – грустные или веселые – они отвлекали их от будней, давая возможность мечтать, испытывать необычные для их повседневной жизни ощущения и вдобавок чему-то их учили. А может, потому, что каждая тетушка еще сохранила, пусть немного, романтику? Когда же я спросил их, почему радиодрамы нравятся им больше книг, тетушки запротестовали: какая глупость! Как можно сравнивать? Книги – это культура, а радиодрамы – пустяк, простое времяпрепровождение! На самом же деле они теперь все свое время проводили, прильнув к радиоприемнику, ни разу ни одну из них я не видел за книгой. Во время наших ночных прогулок тетушка Хулия иногда вкратце пересказывала мне наиболее понравившиеся ей эпизоды из этих постановок, а я ей – содержание наших бесед с боливийским писакой, так что Педро Камачо в конце концов стал неотъемлемой частью нашего романа.

В тот день, когда в результате многочисленных протестов мне удалось наконец добиться возмещения изъятой пишущей машинки, я еще раз убедился в том, что новые радиопостановки имели успех. Хенаро-сын, сияя улыбкой, явился к нам с папкой в руках.

– Перекрыты самые оптимистические расчеты, – сказал он. – За две недели число слушателей наших радиопередач увеличилось на двадцать процентов. Догадываетесь, что это означает? Это означает, что на двадцать процентов будут повышены счета, направляемые рекламодателям.

– Значит, нам на двадцать процентов повысят жалованье? – подпрыгнул на стуле Паскуаль.

– Но вы работаете в «Панамерикан», а не на «Радио Централь», – напомнил нам Хенаро-сын. – Наша радиостанция славится хорошим вкусом и радиодрам не транслирует.

Вскоре откликнулись и газеты: на специально выделенных полосах было отмечено, что новые радиопостановки завоевали широкую публику; посыпались похвалы в адрес Педро Камачо. Гидо Монтеверде первым воспел его в своей газете «Ультима ора», назвав Камачо «опытным сценаристом, которого отличают тропическое воображение и романтический слог, мужественным режиссером, многогранным актером с удивительным голосом». Однако тот, к кому относились все эти эпитеты, и не догадывался о буре восторга, вызванного им. Однажды утром, когда я, как обычно, зашел за ним, чтобы вместе выпить кофе, я обнаружил на окне его клетушки плакат с корявой надписью: «Журналистов не принимают. Автографы не дают. Художник работает! Уважайте его!»

– Это что – серьезно или в шутку? – спросил я, наслаждаясь кофе, в то время как он потягивал отвар из йербалуисы с мятой.

– Вполне серьезно, – ответил он. – Местные пернатые начинают отравлять мне жизнь, и если я их не остановлю, то вскоре очереди радиослушателей дотянутся и сюда, – при этом, будто нехотя, он указал на площадь Сан-Мартина. – Будут просить фотографии, автографы. Мое время дороже золота, я не могу тратить его попусту.

В том, что он говорил, не было ни капли высокомерия, только искреннее беспокойство. Одет он был в свой обычный черный костюм, при галстук-бабочке и курил вонючие сигареты «Авиасон». Как всегда, он был чрезвычайно серьезен. Я надеялся доставить ему удовольствие, рассказав о моих тетушках – фанатических поклонницах его таланта – и о Хенаро-сыне, которого просто распирало от гордости после проведенной анкеты по поводу новых радиопостановок. Но Педро Камачо в раздражении заставил меня умолкнуть, давая понять, что все это – вполне естественно и он заранее знал, что так именно и будет. Он тут же сообщил мне, что возмущен отсутствием такта у «торгашей» (только так он теперь называл обоих Хенаро).

– Что-то не ладится в постановке, и мой долг – выправить это положение, а их долг – помочь мне, – говорил Педро Камачо, нахмурясь. – Но всем ясно, что толстосуму до искусства – как свинье до маргаритки.

– Не ладится? – удивился я. – Но ведь ваши постановки имели такой успех!

– «Торгаши» отказываются уволить Паблито, несмотря на мои требования, – объяснил он. – Из-за какой-то сентиментальной чепухи вроде того, что этот тип давно работает на радиостанции и тому подобное. Будто искусство сродни благотворительности. Некомпетентность этого придурка вредит моему творчеству.

Великий Паблито был одним из тех живописных и не совсем понятных типов, которых порождает и влечет к себе атмосфера радиостанции. Уменьшительное имя наводило меня на мысль о мальчике, однако Паблито был метис лет пятидесяти, он еле передвигал ноги, у него случались такие приступы астмы, что едва не вгоняли его в гроб. С утра до вечера он околачивался в студиях «Сентраль» и «Панамерикана», делая все, что придется: помогал уборщикам, покупал билеты в кино и на бой быков обоим Хенаро, раздавал пропуска для прослушивания в студии. Чаще всего он участвовал в радиопостановках, где отвечал за «особые эффекты».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.